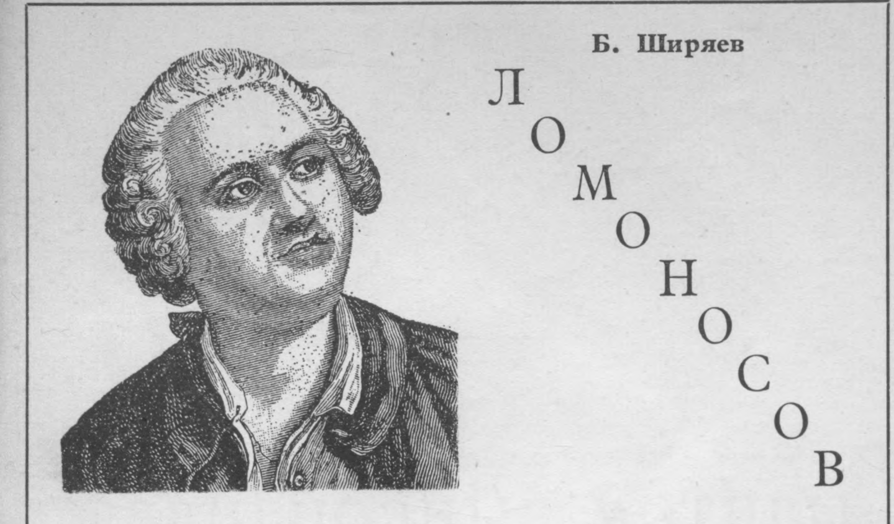
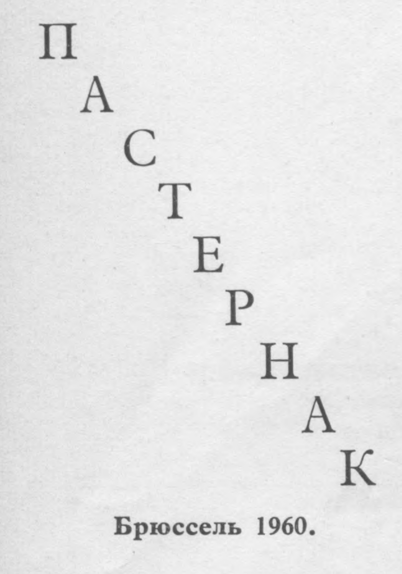
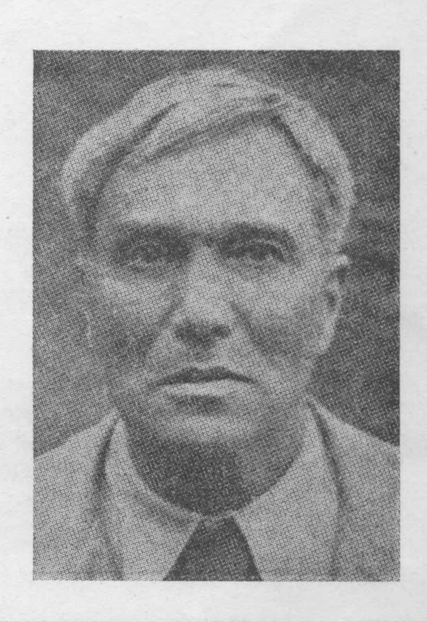
Б. Ширяев

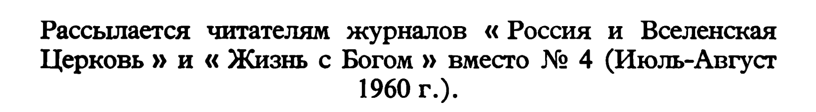


РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ





Брюссель 1960.


Рассылается читателям журналов « Россия и Вселенская Церковь » и « Жизнь с Богом » вместо № 4 (Июль-Август 1960 г.).

Б. Ширяев

РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО « ЖИЗНЬ С БОГОМ »
206, Авеню де ла Куронн
БРЮССЕЛЬ

С разрешения церковных властей

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

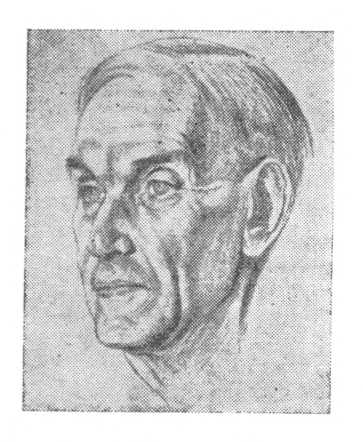
Те, кто внимательно вчитывались в русскую классическую литературу—поэзию или прозу—поражались обилием в ней моральных и религиозных мотивов и сюжетов.

Цель этой брошюры, как и издаваемой одновременно нами брошюры профессора В. Н. Ильина « Арфа царя Давида в русской поэзии »[1] *ознакомить преимущественно наше молодое поколение с некоторыми из этих замечательных произведений, установить контакт между этими сокровищами русского словесного искусства и теми, кто пишут или размышляют на религиозные темы и жаждут живого слова и живых откровений.*

---

(1) Состоящей из введения: «Иночество—основа русской культуры и поэзии » и статей о Ломоносове, Державине, Жуковском, Пушкине и Лермонтове.

ПАМЯТИ Б.Н. ШИРЯЕВА



Автор этой брошюры профессор Борис Николаевич Ширяев скончался 17 апреля 1959 года в Сан Ремо (Италия) после продолжительной болезни. Но светлая память о нем будет жить... Незабываем облик писателя, собиравшего искорки добра в каторжных условиях соловецкой ссылки и создавшего из них кроткое сияние « Неугасимой лампады ».

Б. Н. Ширяев родился в Москве в 1889 году. Там же окончил гимназию и историко-филологический факультет; был оставлен при университете: перед ним открывалась научная карьера. Но в 1914 году он добровольцем ушел на войну и вступил в Черниговский гусарский полк.

После развала фронта в 1918 году он вернулся в Москву в чине ротмистра. Стремясь пробраться на юг к добровольцам, он попал в руки красных, которые приговорили его к смертной казни. Ему удалось бежать в Одессу, а оттуда в среднюю Азию, где он участвовал в белом движении, а после поражения его был принужден работать надсмотрщиком огромных табунов на средне-азиатских пастбищах.

При первой возможности он пробрался в Москву, где его снова арестовали и опять приговорили к расстрелу; но смертная казнь была заменена 10 годами заключения на Соловках. Тяжелая физическая работа в лесу и по вязке плотов соединилась с упорной работой в театре и литературных изданиях. Еще до революции Б. Н. сотрудничал в различных московских газетах и выпустил в 1917 году небольшую книжку стихов. Первую крупную повесть « Паук на колесиках » он напечатал в выходившем на соловецкой каторге журнале « Соловецкие острова ». После пяти лет пребывания на каторге, с 1922 — по 1927 год, его выслали в

Среднюю Азию, где он сотрудничал в нескольких газетах, преподавал в Ташкентском университете и издал несколько брошюр по искусству Средней Азии, наиболее крупная из которых: « Кукольный театр в Средней Азии ». Кроме газетных статей и очерков он писал рассказы для юношества. Печатался в « Прожекторе », « Огоньке », « Вокруг Света » и других ведущих журналах.

По окончании срока ссылки, Б. Н. опять в Москве. Снова арест, тюрьма, голод, скитания..... В 1936 г. он попадает в Ставрополь, где работает в качестве преподавателя в нескольких школах и где женится на студентке педагогического института Нине Ивановне Капраловой. В 1941 г. беженцы нахлынули из западных областей. Все места предоставляются им. Ширяева увольняют. Снова нищета и скитания, на этот раз с 4-хлетним сыном.

С приходом немцев положение меняется. Б. Н. — редактор первой русской свободной газеты и ведет большую общественную работу, добиваясь освобождения ряда военнопленных и помогая своим соотечественникам, даже когда приходится рисковать своим положением.

Б. Н. работает как журналист в Берлине, потом в Белграде и снова в Германии.

В 1945 году он переезжает с семьей в Италию. Там ждут его новые опасности и бедствия—жизнь в беженских лагерях, тяжелая болезнь легких. Длительное бездомное существование, голод и нужда... И несмотря на все это этот последний период жизни Б. Н. оказывается самым плодотворным. Днем он — продавец кукол, а вечером когда стихает лагерный шум, пение и плач, он лихорадочно и упорно работает, при свече.

Первая его вещь « Соловецкая заутреня » была непечатана в «Русской Мысли». Затем следует там же ряд очерков. Другие статьи печатаются в журналах « Часовой », « Знамя России », « Наша Страна ». В 1948 году в лагере Пагани он пишет повесть « Уренский царь » помещенную Мельгуновым в « Возрождении » также как и « Последний барин » и « Ванька вьюга ». « Овечья лужа » и « Горка Голгофа » появляются в « Гранях ». В 1952 году выходит в Аргентине его первая книга « Ди Пи в Италии », затем сборник рассказов: « Я—человек русский » и серия очерков « Светильники Русской Земли ». В 1954 году в издательстве имени Чехова в Нью-Йорке появился его самый значительный труд « Неугасимая лампада ». Несмотря на трудность темы—описание соловецкой каторги — книга эта стала самой популярной (best seller) из всех книг изданных чеховским издательством. В

1958 году в « Гранях » был напечатан « Кудеяров дуб », изданный также отдельной книгой издательством « Посев ». Несколько статей Б. Н. были напечатаны в журнале « Россия и вселенская Церковь ». Укажем наконец, что на итальян ском языке Б. Н. издал книгу « Обзор советской литературы » за период 1920-1940 гг. « Panorama della letteratura russa contemporanea » » вызвавшую большой интерес в Италии, где эта тема была почти неизвестна.

« Религиозные мотивы русской литературы » являются последним трудом Б. Н. Ширяева. Писал он на эту тему с увлечением, хотя временами силы его оставляли, надеясь что это издание заинтересует русскую молодежь. Не раз он вспоминал, как студенты вуз-ов обращались к нему со своими религиозными запросами и те из них, кто хотели молиться, искали вдохновения в русской литературе: молитва Лермонтова и другие религиозные стихотворения превращались в их устах в подлинную молитву.

Б. Н. горячо любил все родное ему—русское, но он сумел преодолеть часто встречающиеся предрассудки и оценить духовные сокровища приютившей его Италии. В зарубежной печати в хоре похвальных отзывов о нем появился и упрек в слабости, которой объясняли его присоединение к католической Церкви. Наши близкие отношения с покойным вменяют нам в обязанность выяснить этот больной вопрос, как будто ложащийся тенью на последние годы его жизни. Это разъяснение облегчается тем, что Б. Н. Ширяев на русско-католическом съезде в Брюсселе в 1956 году сам выразил желание рассказать о своем жизненном пути приведшем его к воссоединению со Вселенской Церковью.

По его словам в семье его отсутствовало религиозное воспитание; первые религиозные воспоминания связаны у него со старушкой няней, неграмотной женщиной, но преисполненной действенной веры и любви. Позже в университете в основу его мировоззрения легла мысль выраженная Трубецким, другом и учеником Владимира Соловьева: « Я исповедую религию Святого Духа. Я чужд как римским так и византийским ограничениям ». Слушая лекции профессора Ключевского, Ширяев уяснил себе, что русская вера не византийский догматизм, а нечто другое. Это « другое » впоследствии открыл ему Лесков. Он показал, что этим « другим » является любовь к Господу и к ближнему и что творческое христианство важнее узкого формализма; народ оценивает в первую очередь жизненную правду человека.

Впервые на фронте, когда жизнь была в опасности Б. Н. стал молиться. Соловецкая каторга явилась для него пово-

ротным пунктом. Соловки—говорил он—поистине святой остров. Его атмосфера такова, что там нельзя не придти к Богу.

В Италии Б. Н. Ширяев встретился с католическим духовенством, и оно произвело не него сильное впечатление своей жертвенностью и любовью. Это было то действенное христианство, которое влекло его с молодости.[1]

Где любовь—там Христос—заключил он. Признав подлинность вселенского христианства практическим путем, он изучил творения Владимира Соловьева, вследствие чего признал и теоретически истинность вселенской Церкви. «Для меня стало ясно—говорил он—что вселенское, воссоединенное с Апостольским Престолом, православие и есть русская вера, вера отцов, вера действенная, вера отданности Христу и делам милосердия. Когда нас упрекают в том, что мы, якобы, отступники от веры отцов, мы должны отослать своих обвинителей к историческим первоисточникам. Профессор Ключевский, готовя нас к выпуску, давал нам, студентам, незабвенные указания: « Когда разбираете какое-либо историческое явление, не верьте современному историку, а ищите первоисточник; не верьте и первоисточнику, ищите дополнений, сопоставляйте, взвешивайте и никогда не имейте заранее предрешенного мнения ». Браки русских княжен с представителями королевских династий Запада, без их перехода в « латинскую веру », паломничества в Рим, обмен посольствами и тесные взаимоотношения с апостольским Престолом после византийского раскола — с достаточной убедительностью свидетельствуют, что лишь последующие политические мотивы государственного властолюбия привели к практическому разрыву, инспирированному националистическими и льстивыми элементами.»

« Великий князь Владимир, основоположник нашей веры и государственной культуры, вел нашу страну по путям русской веры, воплощенного в жизнь христианского идеала, слитого во единое целое с мировым христианством ».

К Б. Н. применимо то, что он писал впоследствии о Вячеславе Иванове, в журнале « Россия и Вселенская Церковь » —(№ 5, 1957) « восприятие истины вселенской Церкви не повернуло его всецело к Западу, а именно в этот период его жизни он устремил свой духовный взор к религиозным ценностям родного ему по крови русского христианства ». После

---

(1) « Б. Н. Ширяев написал о широкой гуманитарной деятельности Ватикана превосходную статью, как всегда яркую и убедительную, « Предательство и милосердие » напечатанную в Сан Францискοй « Жар Птице » в декабре 1953 г. » (Иеромонах Николай Бок, в « Новом Русском Слове » 19 июня 1959 г.)

его присоединения ко вселенской Церкви им и были написаны « Светильники земли русской » и « Неугасимая лампада ».

Одновременно его пленили образы великих западных святых, особенно св. Франциска Ассивского.

Когда в сердце человека живет святая любовь, то и на мир он смотрит любящим оком, и мир тогда преображается в его глазах, проникается светом духовным, принесенным на землю Господом Иисусом Христом, и человек становится способным воспринимать излучение добра таящегося повсюду.

Видеть все в сиянии и радости Христова Воскресения было уделом великих русских праведников — как например Серафима Саровского, но той же радостью и тем же светом была проникнута жизнь ассизского бедняка.

Этим и объясняется, что Б. Ширяева, как и многих других христиан Востока и Запада, привлек образ этого великого святого. В нем он почувствовал что-то родное: как всегда приближение к подлинным истокам духовной жизни убеждают нас в том, что все мы живем одним источником благодати — даром Духа Святого и чем больше открываем мы душу этому дару, тем ближе мы друг к другу.

Неудивительно поэтому, что последний труд задуманный Б. Ширяевым должен был быть посвящен св. Франциску.

Господь судил иначе. Как ни хотелось Б. Н. закончить начатые им произведения, он преклонился перед Его святой волей и мирно отошел туда, где нет уже ми печали, ни воздыханий. Из задуманного им труда остался только замечательный его перевод « Гимн Творений » св. Франциска.

Он сам писал о нем в автобиографической заметке: « революция прервала песнь молодого поэта. Подпись Б. Ширяева мелькала в советских газетах лишь под критико-литературными статьями и путевыми очерками разъездного корреспондента. Но через сорок лет в одном из журналов русского зарубежья имя Б. Ширяева появилось снова, на этот раз под переводом на русский язык гимна св. Франциска Ассизского. Сорок лет не смевший касаться струн божественной арфы поэт, не смог преодолеть в себе зовов Божьего дара ».

Этот перевод мы и приводим в конце брошюры как заключительный аккорд религиозных мелодий звучавших в душе автора-поэта.

И вещим сердцем понял я,
Что все рожденное от Слова,
Лучи любви кругом лия,
К Нему вернуться жаждет снова.

И жизни каждая струя
Любви покорная закону
Стремится силой бытия
Неудержимо к Божью лону.

И всюду звук, и всюду свет,
И всем мирам одно начало;
И ничего в природе нет
Что-бы любовью не дышало.

А. К. Толстой.

ВЕЛИК ЗИЖДИТЕЛЬ НАШ ГОСПОДЬ!

Уже прекрасное светило
Простерло блеск свой по земли,
И Божии дела открыло.
Мой дух с веселием внемли,
Чудяся ясным столь лучам,
Представь каков Зиждитель сам.
Когда бы смертным столь высоко
Возможно было возлететь,
Чтоб к солнцу бренно наше око
Могло приблизившись воззреть,
Тогда б со всех открылся стран
Горящий вечно океан.
Там огненны валы стремятся
И не находят берегов,
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков.
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.
Сия ужасная громада
Как искра пред Тобой одна.
О, сколь пресветлая лампада,
Тобою, Боже, возжена,
Для наших повседневных дел,
Что Ты творить нам повелел.
От мрачной ночи свободившись,
Поля, бугры, моря и лес
И взору нашему открылись
Исполнены Твоих чудес.
Там всякая взывает плоть:
Велик Зиждитель наш Господь.
Светило дневное блистает,
Лишь только на поверхность тел,
Но взор Твой в бездну проницает,
Не зная никаких предел.
От светлости Твоих очей
Лиется радость твари всей.
Творец, покрытому мне тьмою
Простри премудрости лучи,
И что угодно пред Тобою.
Всегда творити научи!
И на твою взирая тварь,
Хвалить тебя, бессмертный Царь!

М.В. Ломоносов.

МОЛИТВА ЗА ЗЕМЛЮ РУССКУЮ

Непоколебимую веру в грядущее светлое будущее России, выполнение русским народом предназначенной ему Господом вселенско-исторической миссии высказывает в своих стихотворениях Алексей Сергеевич Хомяков. В них он идет к познанию своей родины путем религии, путем веры. Владевшие им тогда славянофильские тенденции придают этим стихам некоторый специфический колорит, но не изменяют их сущности.

Мы видим в нем богатейшее разнообразие эмоциональной и интеллектуальной одаренности, но эти элементы пребывали в нем не в состоянии хаоса и постоянного взаимного борения, но гармонично сливались в единое целое, создавая в результате этого процесса могучую духовную фигуру пророка и борца. Хомяков — поэт, богослов-мирянин, политический деятель, яростный полемист, превосходство которого над собой признавал даже горделивый Герцен, смелый, жертвенный офицер, но прежде всего историк, судья в историческом аспекте, выносящий свои приговоры не только в форме научных статей, но и в поэтических строках. Он пламенно верует в историческую миссию России, но видит реализацию этой миссии не в укреплении внешней мощи Империи и широте ее завоеваний, а в организации общественной жизни на основах религии, свободы, любви и братства народов. Для осуществления этого он полагает прежде всего анализ своего прошлого, признание ошибок, раскаяния в них и волю нации к их исправлению.

Гордись! — Тебе льстецы сказали;
Земля с увенчанным челом,
Земля несокрушимой стали,
Полмира взявшая мечом.
Предела нет твоим владеньям
И прихотей твоих раба
Внимает гордым повеленьям
Тебе покорная судьба.
Красны степей твоих уборы,
И горы в небо уперлись,
И как моря твои озера...
Не верь, не слушай, не гордись.

. . . .

Бесплоден всякий дух гордыни,
Неверно злато, сталь хрупка...

Но крепок ясный мир святыни
Сильна молящихся рука.
Не говорите: « то былое,
То старина, то грех отцов;
А наше племя молодое
Не знает старых тех грехов ».
Нет, — этот грех — он вечно с вами,
Он в ваших жилах и крови,
Он сросся с вашими сердцами,
Сердцами мертвыми к любви.
Молитесь, кайтесь, к небу длани!
За все грехи былых времен,
За наши каинские брани,
Еще с младенческих пелен;
За слезы страшной той годины,
Когда враждой упоены,
Вы звали чуждые дружины
На гибель русской стороны...

. . . .

За слепоту, за злодеянья,
За сон умов, за хлад сердец,
За гордость темного незнанья,
За плен народа; наконец,
За то, что полные томленья
В слепой сомнения тоске
Пошли просить вы исцеленья
Не у Того, в Его ж руке
И блеск побед и счастье мира,
И огнь любви и свет умов, —
Но у бездушного кумира,
У мертвых и слепых богов.
И, обуяв в чаду гордыни,
Хмельные мудростью земной,
Вы отреклись от всей святыни,
От сердца стороны родной!
За все, за всякие страданья,
За всякий попранный закон,
За темные отцов деянья,
За темный грех своих времен,
За все беды родного края, —
Пред Богом благости и сил,
Молитесь, плача и рыдая,
Чтоб Он простил, чтоб Он простил.

А. С. Хомяков видит и указывает в этом стихотворении на политически-моральный тупик, в который неуклонно приводит отрыв социально-общественной жизни от религии, от заветов Христа. Но он, неумолимый аналитик истории и борец, непоколебимо строг и тверд. Он призывает прежде всего к очищению себя самих, своего интеллектуально-духовного мира покаянием и моральным самосовершенствованием — возвратом к Богу истинному от поклонения «бездушным кумирам, мертвым и слепым богам» материализма.

Хомяков верит в совершение русским народом этого подвига, силы для которого таятся в русской душе.

И вот за то, что ты смиренна,
Что в чувстве детской простоты,
В молчанье сердца сокровенна,
Глагол Творца прияла ты,
Тебе Он дал свое призванье,
Тебе Он светлый дал удел:
Хранить для мира достоянье
Высоких жертв и чистых дел;
Хранить племен святое братство,
Любви живительный сосуд,
И веры пламенной богатство,
И правду и бескровный суд.

. . . .

О вспомни свой удел высокий,
Былое в сердце воскреси
И в нем сокрытого глубоко
Ты духа жизни допроси.
Внимай ему — и все народы,
Обняв любовию своей,
Скажи им таинство свободы,
Сиянье веры им пролей!

Но он не закрывает глаза на темные стороны современного ему русского общества.

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи притворной,
И лени мертвой и позорной
И всякой мерзости полна.

О недостойная избранья,
Ты избрана... Скорей омой
Себя слезами покаянья,
Чтоб гром двойного наказанья
Не грянул над твоей главой.

Последние две строки этого стихотворения А. С. Хомякова звучат, как жгучие вещие возгласы библейского пророка. Но они не были услышаны его современниками, не были поняты ими. Покаяние не принесено. Предсказанный поэтом гром грянул. Мы слышали и слышим его раскаты...

« *Но* — как писал В. Соловьев — *верится:*

Пройдет сверкающий громами
Средь этой мглы божественный глагол,
И туча черная могучими струями
Прорвется вся в опустошенный дол.

И светлою росой она его омоет,
Огонь стихий враждебных утолит,
И весь свой блеск небесный свод откроет
И всю красу земли недвижно озарит.

Озарение принесет нам свет Христов сияющий в Евангелии. Ему и посвятил Хомяков одно из самых прекрасных своих стихотворений:

ЗВЕЗДЫ

В час полночный, близ потока,
Ты взгляни на небеса:
Совершаются далеко
В горнем мире чудеса.
Ночи вечные лампады
Невидимы в блеске дня,
Стройно ходят там громады
Негасимого огня.

Но впивайся в них очами —
И увидишь, что вдали,
За ближайшими звездами,
Тьмами звезды в ночь ушли.
Вновь вглядись — и тьмы за тьмами
Утомят твой робкий взгляд:
Все звездами, все огнями
Бездны синие горят.

В час полночного молчанья,
Отогнав обманы снов,

Ты вглядись душой в писанья
Галилейских рыбаков, —
И в объеме книги тесной
Развернется пред тобой
Бесконечный свод небесный
С лучезарною красой.

Узришь — звезды мыслей водят
Тайный хор свой вкруг земли;
Вновь вглядись — другие всходят,
Вновь вглядись — и там, вдали,
Звезды мыслей, тьмы за тьмами,
Всходят, всходят без числа,
И зажжется их огнями
Сердца дремлющая мгла.

А молитва за Землю Русскую, за угнетенную, за порабощенную, за кровью и слезами залитую прозвучит страдальческим воплем, сорвавшись с обугленных уст потерявшей мужа (Николая Гумилева) и сына (в советских концлагерях) крупнейшей из русских поэтесс, единственной из них достойной высокого звания поэта—Анны Ахматовой:

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханье, бессоницу, жар,
Отыми и ребенка и друга
И таинственный песенный дар.

Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.

Могла ли она не сотворить этой молитвы, если в поэтическом завещании утраченного ею горячо любимого мужа, друга и учителя стояли слова:

Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.

Но нежное, мягкое, женское сердце Анны Ахматовой могло лишь отражать героические удары мощного сердца ее мужа и в своем завещании она в силах лишь просить:

Эта женщина одна,
Эта женщина больна;
Муж в могиле, сын в тюрьме.
Помолитесь обо мне.

К БОГУ — ПУТЕМ КРАСОТЫ.

Многие пути ведут к Господу человеческие души. Выбор одного из них для следования по нем в течение всей своей жизни предоставлен Творцом свободной человеческой воле. Отшельники Фиваиды и Синая устремлялись к Господу путем аскезы, отрешения от земных красот и соблазнов, путем подавления плоти и своего человеческого естества. Поэт граф Алексей Константинович Толстой пошел к той же великой и святой цели совершенно другой дорогой. Он не отрешился от восхищения и преклонения перед красотами земной человеческой жизни, но видел в них не суетную мишуру, а одно из проявлений благости и творчества Всемогущего. Он умел видеть красоту добра и уродство зла. Неутомимым искателем красоты был он как в поэзии, так и в личной своей жизни.

« Я всегда испытывал неодолимое влечение к искусству вообще, во всех его проявлениях », пишет он в своей « Литературной исповеди ». « Та или другая картина или статуя или прекрасная музыка производили на меня такое сильное впечатление, что у меня волосы буквально поднимались на голове. Мне было тринадцать лет, когда я с родными сделал первое путешествие в Италию. Изобразить всю силу моих впечатлений, весь переворот, свершившийся во мне, когда открылись душе моей сокровища, о которых я имел уже смутные понятия, прежде нежели встретил их, было бы невозможно... По возвращении в Россию я впал в тоску по Италии, в настоящую « тоску по родине », доходил до какого-то отчаяния, которое заставляло меня днем отказываться от пищи, а ночью рыдать. »

Мог ли человек с такого рода конструкцией своего духовного мира избрать в своем стремлении к Истине иной путь, чем познание ее через призму Красоты и Добра?

Но красота материального мира, окружающего нас в земной жизни, для поэта Алексея Толстого лишь ступень к лицезрению иной, потусторонней, духовной, Божеской красоты.

И в каждом шорохе растенья,
И в каждом трепете листа
Иное слышится значенье,
Видна иная красота!...

Я в них иному гласу внемлю
И, жизнью смертною дыша,

Гляжу с любовию на землю, —
Но в ы ш е просится душа...

Свою замечательную поэму «Грешница» он начинает описанием пышного пира во дворце блудницы и, казалось бы, всемогущего обаяния ее собственной телесной грешной красоты. В этом всемогуществе уверена и сама она. В иную, высшую красоту она не верит и бросает ей вызов:

Лишь наслажденьем я влекома,
С постом, с молитвой незнакома,
Я верю только красоте,
Служу вину и поцелуям,
Мой дух тобою не волнуем,
Твоей смеюсь я чистоте,

надменно говорит она, протягивая фиал с искристым вином вошедшему в ее дворец юному апостолу Иоанну. Но вместе с тем ее дух уже смущен самим видом апостола. Поэт не осмеливается высказать словами человеческую красоту самого Христа и дает лишь ее отблеск, отраженный на лике Его любимого ученика.

Его чудесные черты,
Осанка, поступь и движенья
Во блеске юной красоты
Полны огня и вдохновенья;
Его величественный вид
Неотразимой дышит властью,
К земным утехам нет участья
И взор в грядущее глядит.
То муж, на смертных непохожий,
Печать избранника на нем,
Он светел, как архангел Божий.

Душа блудницы уже в преддверии к познанию уродства своей греховности. Появление самого Христа, вошедшего в ее дом вслед за апостолом, полностью срывает завесу с ее глаз и в покаянном порыве.

Пала ниц она, рыдая,
Перед святынею Христа.

Призвание поэта, воспринятый им от Господа песенный дар, Алексей Толстой понимает, как служение словом Творцу мира и человека. Чтобы подняться до горних высот песнопения, поэт должен преодолеть в себе влечение к

мирской суетности, уйти от нее, углубиться в себя и всем своим духом устремиться к высшей красе Господней, к бесконечно прекрасной, вечной жизни, обетованной Господом человеку. Так и поступает святой Иоанн Дамаскин в поэме Толстого, названной его именем. Любимец Багдадского халифа, обладатель несметных богатств и фактический повелитель могущественного государства, он отрекается от всех этих суетных ценностей ради свободы своего песенного дара:

Над вольной мыслью Богу неугодны
Насилия и гнет:
Она в душе рожденная свободно
В оковах не умрет.

Так поет Иоанн Дамаскин, таково поэтическое кредо поэта Алексея Толстого.

Песнопевец во имя Господа, Иоанн Дамаскин с нищенскою сумою бредет по земле, благословляя каждую былинку, ибо видит в ней проявление красоты творчества Господня. Но это низшая, ближайшая к земле суетная ее форма.

Какая сладость в жизни сей
Земной печали непричастна?
Чье ожиданье не напрасно
И где счастливый меж людей?
Все то превратно и ничтожно,
Что мы с трудом приобрели,
Какая слава на земли
Стоит тверда и непреложна?
Все пепел, призрак, тень и дым,
Исчезнет все, как вихорь пыльный,
И перед смертью мы стоим
И безоружны и бессильны.

В этих строках мы слышим как бы перепев ветхозаветного пессимизма Экклезиаста: « Все суета сует и томление духа ». Смерть — предел всему, за нею — тьма и небытие. Но ведь новый Завет принес нам обетование искупленной кровью Спасителя вечной жизни. Предчувствует ли ее поэт Алексей Толстой? Провидит ли он своими духовными очами красоту обещанного праведному блаженства?

Провидит, нерушимо верует в нее и молит о ней устами Иоанна Дамаскина:

Тот, кто с вечною любовью
Воздавал за зло добром —

Избиен, покрытый кровью,
Венчан терновым венцом,
Всех с собой страданьем сближенных,
В жизни долею обиженных,
Угнетенных и униженных
Осенил своим крестом.
Вы, чьи лучшие стремления
Даром гибнут под ярмом,
Верьте, други, в избавление,
К Божью свету мы грядем.
Вы, кручиною согбенные,
Вы, цепями удрученные,
Вы Христу сопогребенные
Совоскреснете с Христом!

За страшною каждому человеку дверью смерти не тьма, но осиянная светом высшей красоты безмерная радость воскресения во Христе.

Душа человеческая представляется поэту ареной борьбы Добра и Зла. Он выражает это в драматической поэме « Дон Жуан ». На тему рыцарского романа о неутомимом искателе красоты написано в мировой литературе около двухсот произведений всех жанров. И Байрон, и Пушкин, и Вольтер отдали дань этой теме. Но Алексей Толстой, по всей вероятности единственный из всех, трактует ее в мистическом, религиозном плане. Дон Жуан для него не неотразимый кавалер, покоритель женских сердец, не блестящий авантюрист и бреттер и даже не искатель красоты « вечной женственности », но одновременно избранник Бога и Сатаны. Могущество Добра и сила Зла сталкиваются и вступают в борьбу в душе Жуана. Он проходит все мирские соблазны, отдаваясь в их власть, но вместе с тем и преодолевает их своим стремлением к истинной, надземной красоте. Путь к ней он находит в отречении от земной красивости, в устремлении к высшему, неземному сиянию, к подвигу во имя Господне. Дон Жуан Алексея Толстого кончает свой земной путь, не проваливаясь в преисподнюю вместе со статуей командора, как изобразил это Пушкин, но вздымаясь к горним высотам на крыльях высшей, одухотворенной Господом любви.

Пути Творца необъяснимы,
Его судеб таинствен ход.
Всю жизнь обманами водимый
Теперь к сознанию придет!

Любовь есть сердца покаянье,
Любовь есть веры ключ живой,
Его спасет любви сознанье,
Не кончен путь его земной.

Назначение же поэта Алексей Толстой видит в разъяснении людям этого бесконечного пути вечной жизни, возносящего душу человеческую от земли к небу.

Во имя Господа Христа
Певец святые вдохновенья
Из сердца звучного излей,

взывает он к своим братьям по творчеству.



СОЗВУЧИЯ

Большинство свершающих свой небесный путь планет имеет спутников. Эти спутники много меньше самих планет по размерам, но их движения подчинены путям светил. Одновременно с этим каждый спутник обладает и своим собственным путем, не нарушающим общего движения, но дополняющим его.

Тому же закону подчинены и парящие духом в надземном пространстве поэты. Почти каждый из крупнейших русских поэтов обладал своей, то большей, то меньшей плеядой или прямых его последователей или созвучных ему сердец. Самая крупная плеяда была, конечно, у величайшего из русских поэтов А. С. Пушкина. Не будем перечислять имен всех входивших в нее и назовем лишь Языкова, которого сам Пушкин считал « наиболее близким себе по языку ».

Но не только по языку был близок Пушкину Языков. В их жизни мы видим несомненный параллелизм, одну и ту же последовательность этапов пути, приведшего обоих от упоения материальными радостями земной жизни к Богу.

Молодость Языкова была насыщена опьянением от воспринятых им земных наслаждений, полным эпикуреизмом, преклонением его поэтического дара перед этим опьянением. Пушкин, прошедший в молодости ту же стадию, говорил даже, что первую книгу стихов Языкова следовало бы назвать « Хмель », а сам Языков позже писал о днях своей юности:

Те дни летели, как стрела,
Могучим кинутая луком,
Они звенели ярким звуком
Разгульных песен и стекла...

Но дар поэта, освещавший по милости Господней душу эпикурейца Языкова, спас ее от распада, от блужданий, от поиска призраков обманчивой красоты и привел его к познанию истинных красот — красот духа.

Наступил перелом, о котором сам Языков пишет так: « Моя муза должна преобразиться: я перейду из кабака прямо в церковь. Пора и Бога вспомнить ». Это твердо принятое им решение он тотчас же переносит в область своего поэтического творчества и создает ряд превосходных подражаний псалмам, перепевов звучания арфы Давида, дошедшего до его души. Венцом этих новых в творчестве Языкова поэтических произведений Жуковский считал его

поэму « Землетрясение », которую называл даже « лучшим русским стихотворением », а Пушкин отметил: « Если уж завидовать, так вот кому я должен завидова́ть ». Мы же теперь, удаленные от Языкова более чем на столетие, можем увидеть в ней еще и то, что было невидимо его современникам: в поэме « Землетрясение » Языков в форме древней христианской легенды отразил переворот, произошедший в его собственной душе, « внявшей горнему глаголу небесных ликов ».

Всевышний граду Константина
Землетрясение послал;
И Геллеспонтская пучина,
И берег с грудой гор и скал
Дрожали, и царей палаты,
И храм, и цирк, и гипподром,
И градских стен верхи зубчаты,
И все поморие кругом,
По всей пространной Византии,
В отверстых храмах Богу сил
Обильно пелися литии,
И дым молитвенных кадил
Клубился; люди, страхом полны,
Текли перед Христов алтарь:
Сенат, синклит, народа волны
И сам благочестивый царь.
Вотще! Их вопли и моленья
Господь во гневе отвергал,
И гул и гром землетрясенья
Не умолкал, не умолкал.
Тогда невидимая сила
С небес на землю снизошла,
И быстро отрока схватила,
И выше облак унесла.
И внял он горнему глаголу
Небесных ликов: Свят, Свят, Свят!
И песню ту принес он долу,
Священным трепетом объят.
И церковь те слова святые
В свою молитву приняла
И той молитвой Византия
Себя от гибели спасла.
Так ты, поэт, в годину страха
И колебания земли
Носись душой превыше праха,

И ликам ангельским внемли.
И приноси дрожащим людям
Молитвы с горней вышины,
Да в сердце примем их и будем
Мы нашей верой спасены.

Последние строчки этого стихотворения при сравнении их с « Пророком » Пушкина говорят о том, что просветление, пришедшее в душу Языкова, было до известной степени отражением того же внутреннего процесса, пережитого гениальным поэтом. Языков сам без зависти и без протеста, но с преклонением перед грандиозностью А. С. Пушкина говорит о его влиянии на него.

Когда гремя и пламенея
Пророк на небо улетал,
Огонь могучий проникал
В живую душу Елисея:
Святыми чувствами полна,
Мужала, крепла, возвышалась,
И вдохновеньем озарялась,
И Бога слышала она.
Так гений радостно трепещет,
Свое величье познает,
Когда пред ним гремит и блещет
Иного гения полет:
Его воскреснувшая сила
Мгновенно зреет для чудес
И миру новые светила —
Дела избранника небес.

Сходным с Языковым путем шла к Богу и душа другого большого поэта славной пушкинской плеяды — Баратынского. « Баратынский — чудо, прелесть », — писал о нем Пушкин, а сам он, говоря о себе, признавался: « Казалося, судьба в своем пристрастии мне счастие дала до полноты ».

Баратынский был прав в такой оценке своего жизненного пути. На редкость красивый, унаследовавший от отца большое состояние, прекрасно образованный, счастливый в любви и в дружбе, он шел, казалось бы, по розам. Эти жизненные радости изящно отражены в его лирических стихах, но вместе с тем, как только этот поэт отходит от поверхности лирики и погружается в тайны своей души, то его внутренний строй резко меняется и, несмотря на все радости, щедро отпущенные ему земной жизнью, он тоскует о чем-то ином и чувствует глубокую неудовлетворенность.

На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит.
Все ведомы и только повторенья
Грядущее сулит.
Напрасно ты металась и кипела,
Развитием спеша,
Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа.

Не созвучны ли эти строки основному мотиву Экклезиаста: « Все суета сует и томление духа »?

Углубляясь в себя, Баратынский теряет связь с земным, но не приходит и к небесному.

Я ношусь, — крылатый вздох —
Меж землей и небесами...

Жизнь становится полной тайн и загадок и разрешением их поэту представляется только смерть.

Ты — всех загадок разрешенье,
Ты — разрешенье всех цепей.

Где же выход из мрака? Откуда блеснет светлый луч мира и упования? Кто даст покой томящейся душе?

Только Тот, Чья милость безмерна. Это понято Баратынским незадолго до его смерти и выражено в короткой поэтической молитве:

Царь Небес! Успокой
Дух болезненный мой.
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.

По указанному графом А. К. Толстым пути: через познание чистых форм земной красоты — к красоте духовной, а от нее к пределу, ослепительному сиянию Божеской красоты пошли многие поэты того времени, средины XIX века. Л. А. Мей, Аполлон Майков, А. А. Фет, Я. П. Полонский, граф А. А. Голенищев-Кутузов — все они сходны в своей творческой направленности, несмотря даже на глубокие формальные различия. Ближе всех из них к графу Алексею Толстому стоит безусловно Л. А. Мей. Он, так же как и Толстой, очарован узорной парчей русского национального прошлого; его драматические поэмы « Царская невеста » и

«Псковитянка» положены позже на музыку Римским-Корсаковым и вошли в сокровищницу русской оперы, но русское прошлое не заслоняет от глаз Мея, равно как и от глаз Алексея Толстого, красот иного, западного мира; Меем переведены на русский язык лучшие стихи Шиллера, Гейне, Гете, Байрона, Беранже, Мицкевича и других европейских классиков.

Но какая бездонная пропасть отделяет человека Мея от человека Алексея Толстого, как различны их жизненные пути!

Л. А. Мей происходил из обрусевшей немецкой семьи. Отец его был ранен в Бородинском сражении, вследствие чего его сын был принят на казенный счет в Царскосельский лицей, где получил блестящее образование. Но бедность, даже нищета преследовали его всю жизнь. Будучи поэтом чистой воды и кристально честным человеком, Мей был ребенком в практической жизни, да и в литературной своей работе не шел на те компромиссы, которых требовала от него входившая тогда в силу радикальная материалистическая и атеистическая интеллигенция пятидесятых-шестидесятых годов прошлого столетия. Отсюда его неуверенность в себе, слабость, приниженность неудачника. Какой контраст с красавцем, силачом, богачом, аристократом графом Алексеем Константиновичем Толстым, этапами жизненного пути которого были только победы!

Вседержитель для гр. А. Толстого — ослепительный, лучезарный источник красоты, освещающий весь мир и прежде всего озаряющий душу поэта. Для Л. Мея Он — прибежище истомленной, измученной земными терзаниями той же души того же поэта.

Нет предела стремлению жадному...
Нет предела труду безуспешному...
Нет конца и пути безотрадному...
Боже, милостив буди мне грешному!

И все же — к Нему, к Нему под бременем своего мучительного дара... Только в нем источник красоты и всепрощения.

Нет! В лоне у Тебя, Всесильного Творца,
Почиет красота и ныне и от века
И ты простишь грехи раба и человека
За песни красоте свободного певца.

Творя служение красоте, развивая свой талант, поэт тем самым служит Господу и в этом служении его спасение. — Такова вера Л. Мея.

Не верю, Господи, что ты меня забыл,
Не верю, Господи, что ты меня отринул:
Я твой талант в душе лукаво не зарыл
И хищный тать его из недр моих не вынул.

С этими строками истомленного жизнью поэта перекликаются созвучия другого, принадлежавшего к той же плеяде, устремленного к тем же высотам красоты — А. Н. Майкова.

Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог:
Чем ночь темней, тем ярче звезды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог.

Аполлон Николаевич Майков, столь же, как и Мей, близок к крупнейшему светилу созвездия служителей красоты — графу А. К. Толстому. Но там, где Мей бессильно скользит по поверхности темы, Майков находит в себе силы углубиться в нее до предела. Тайны человеческой души неудержимо влекут его к себе и, проникая в них духовным взором поэта, он так же как и Алексей Толстой, видит беспрерывную борьбу Добра и Зла, Христа и Антихриста в трепетном человеческом сердце. Эта тема, разработанная А. Толстым в драматической поэме « Дон Жуан », выражена А. Н. Майковым в стихотворении « Ангел и демон »:

Подъемлют спор за человека
Два духа мощные: один —
Эдемской двери властелин
И вечный страж ее от века
Другой — во всем величье зла,
Владыка сумрачного мира:
Над огненной его порфирой
Горят два огненных крыла.
Но торжество кому ж уступит
В пыли рожденный человек?
Венец ли вечных пальм он купит
Иль чашу временную нег?
Господен ангел тих и ясен:
Его живит смиренья луч;
Но гордый демон так прекрасен,
Так лучезарен и могуч!

В этом стихотворении поэт А. Н. Майков не предрешает исхода борьбы добра и зла в человеческой душе, как это делает в поэме « Дон Жуан » А. Толстой. Вполне понятно. Стихотворение это, глубоко субъективно, в нем чувства самого автора, которому тогда было всего только двадцать лет. Но весь жизненный путь А. Н. Майкова (1821-1897) был долог; поэт прожил 76 лет, беспрерывно работая не только над своими поэтическими произведениями, но и над самим собой, своими чувствами, своим сознанием — своим путем к познанию Бога. И, если в дни мятежной юности, красота демона была для него равносильна или почти равносильна ангельской красе, а исход борьбы Добра и Зла в его собственной душе был для него гадательным, то пройдя свой долгий жизненный и творческий путь, умудренный им поэт писал:

Близится Вечная Ночь... В страхе дрогнуло сердце.
Пристальней стал я глядеть в тот ужасающий мрак...
Вдруг в нем звезда проглянула, за нею другая и третья,
И наконец засиял звездами весь небосклон.

Новая в каждой из них мне краса открывалась всечасно,
Глубже мне в душу они, глубже я в них проникал...
В каждой сказалося слово свое, и на каждое слово,
С радостью чувствовал я, — отклик в душе моей есть.

Все говорили, что где-то за нами есть Вечное Солнце, —
Солнце, которого свет, блеск и красу им дает.
О как ты бледно пред Ним, — юных дней моих солнце!
Как он ничтожен и пуст — гимн, что мы пели тебе!

Демоническая земная красота, гимн которой пел в юности поэт, оказалась не чем иным, как только жалкой мишурой. Обольстительная пелена спала с его глаз и перед ними предстала подлинная красота Вечной Жизни, освещенная солнцем всех солнц — Творцом мира и человека.

Мей и Майков вошли в русскую литературу в сороковых годах прошлого столетия, а окончательно сформировались как поэты в шестидесятых годах, в период жесточайшего натиска на русское общество идей материализма, нигилизма и атеизма. Даже Пушкин подвергался тогда жесточайшей и ничем не обоснованной критике со стороны « властителя дум » тех поколений Писарева; так на какие же созвучия своим идеалистическим стихам могли рассчитывать поэты много меньшего калибра? Не поэтому ли голоса их неуверен-

ны и слабы, а их души нередко охвачены сомнениями и лишь томятся в порывах к Господу, но не в силах найти путь к нему. Отголоски этих мучительных томлений дает нам поэзия Я. П. Полонского:

То в темную бездну, то в светлую бездну,
Крутясь, шар земли погружает меня:
Питают, пытают мой разум и веру
То призраки ночи, то призраки дня.
Не верю я мраку, не верю я свету,
Они — грезы духа, в них ложь и обман...
О, вечная правда, откройся поэту,
Отвей от него разноцветный туман,
Чтоб мог он великий в сознаньи обмана,
Ничтожный, как всплеск посреди океана,
Постичь, как сливаются вечность и миг,
И сердцем проникнуть в святая Святых.

« В ранние годы надежды нашего поэта Я. П. Полонского на лучшую будущность для человечества были связаны с его юношескою безотчетною верою во всемогущество науки », писал о Полонском Владимир Соловьев.

Царство науки не знает предела,
Всюду следы ее вечных побед,
Разума, слова и дела. Сила и свет.
Миру, как новое солнце, сияет
Светоч науки, и только при нем
Муза чело украшает
Свежим венком.

Подпав под влияние господствовавшего в те годы позитивистического мышления, Я. П. Полонский пытался даже и свою лиру поэта настроить на тот же лад. Отчего же нет? Ведь рекомендовал же тогда Писарев всем поэтам применить свои таланты к созданию популярных брошюрок по естественным наукам, в которых, как утверждали тогда, содержатся ключ к разгадке всех тайн мироздания не как проявления творчества Господня, но как самостоятельного, обособленного процесса — « природы ». К этой « природе », зародившейся и развивающейся без помощи Господней, к изучению ее, к любви к ней призывал Полонский в своих стихах.

О, в ответ природе
Улыбнись, от века

Обреченный скорби
Гений человека!
Улыбнись природе!
Верь знаменованью:
Нет конца стремленью,
Есть конец страданью.

Но жизненный путь пройден поэтом... И та позитивистическая наука (кстати, опровергнутая теперь новейшими научными теориями) не дала ему ответов на мучившие его вопросы. Где же найти их? Где источник истины?

Сомневаясь и колеблясь, шедший по пути ложных солнц, поэт все же робко называет его:

Ткань природы мировая, —
Риза... Божья может быть?

« Может быть... » Утверждать имя Господне проживший жизнь без Бога Я. П. Полонский не смеет, но звучание арфы Давида становится ему все слышнее и слышнее по мере просветления его души. И, наконец,

Жизнь без Христа — случайный сон.
Блажен, кому дано два слуха, —
Кто и церковный слышит звон
И слышит вещий голос Духа.

« И то и другое слышнее в тихий вечер жизни », писал о Полонском Владимир Соловьев »! Все обмануло, все прошло, считается только вечность и ее земной залог... Чем более зрелою становилась поэзия Полонского, тем явственнее звучал в ней религиозный мотив, хотя и в последних стихотворениях выражается более стремление и готовность к вере, нежели положительная уверенность ».

Я. П. Полонскому, его сердцу проникнуть в Святая Святых не удалось потому что он устремлялся к горним высотам, не видя на них Животворящего Креста, не творя молитвенного слова. Он пытался найти внерелигиозной путь к добру, утвердить этический моральный идеал без Евангелия. Поэтому в результате своих искренних и глубоких исканий он стал сам « добычей суеты, игралищем ее непостоянства », как скажет его современник А. А. Фет.

Сам А. А. Фет видел совершенно ясно и вполне уяснял себе лживость кумиров того времени (да и нашего тоже!) и выразил свое отношение к ним, повторив в звучных ритмических строках повествование Евангелия:

Когда Божественный бежал людских речей
И празднословной их твердыни
И голод забывал, и жажду многих дней,
Внимая голосу пустыни, —
Его взалкавшего на темя серых скал
Князь мира вынес величавый.
« Вот здесь, у ног твоих все царства », — он сказал —
С их обаянием и славой.
Признай лишь явное. Пади к моим ногам,
Сдержи на миг порыв духовный, —
И эту всю красу, всю власть Тебе отдам
И покорюсь в борьбе неравной ».
Но Он ответствовал: « Писанию внемли;
Пред Богом Господом лишь преклоняй колени ».

Владевшая им глубокая вера охранила А. Фета от окружавшей его материалистической суеты, от поклонения ее кумирам. Сознавая свое человеческое ничтожество, этот поэт вместе с тем ощущал в своей душе искру Господню и знал, что только эта искра, ее неугасимый огонь возвеличивает его, вздымает его от плена бездушной материи к образу и подобию Божиему.

Не тем, Господь, могуч, непостижим
Ты пред моим мятущимся сознаньем,
Что в звездный день твой светлый серафим
Громадный шар зажег над мирозданьем
И мертвецу с пылающим лицом
Он повелел блюсти твои законы,
Все пробуждать живительным лучом,
Храня свой пыл столетий миллионы;
Нет, Ты могуч и мне непостижим
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,
Ношу в груди, как оный серафим,
Огонь сильней и ярче всей вселенной,
Меж тем, как я добыча суеты,
Игралище ее непостоянства,
Во мне он вечен, вездесущ, как Ты,
Ни времени не знает, ни пространства.

Мощь истинной светлой идеи нередко подтверждается невольным признанием ее элементов в лагере противников, внесением тезиса в антитезис. Так было и с мелодией арфы Давида — религиозной идеей, пронзившей и одухотворившей собой все развитие русской поэзии.

Одним из вождей победоносно наступавшего в 60^{x} годах прошлого столетия на русскую народную душу чуждого ей западно-европейского материализма был редактор радикально-нигилистического журнала « Современник » Николай Алексеевич Некрасов, наименованный современниками « поэтом-гражданином ». Стремление к извечной красоте, дару Господню, служению которому отдавали себя милостью Божией поэты того времени, он (нужно признать, талантливо, ловко и даже виртуозно) подменил « гражданским идеалом » — зарифмовкой своих политических тенденций. Даже не лично своих, потому что внутренний мир самого Н. А. Некрасова до сих пор остается для нас загадкой, но тех, которых требовала от него материалистическая критика во главе с Чернышевским и которые, в силу этого, приносили издателю Некрасову немалый доход.

« Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан » провозглашал Н. А. Некрасов, но свое российское « гражданство » определял чрезвычайно субъективно и односторонне, то-есть стремился вытащить на свет и « обличить » все темное, смрадное и грязное, что, как и в каждом народе, имелось и в народе русском. Хранитель национальных духовных ценностей, русского национального религиозного мышления — русский крестьянин представлен Н. А. Некрасовым истомленным непосильной, бесплодной работой, с одной стороны, и беспробудно пьяным, почти что дикарем — с другой.

Мы до смерти работаем,
До полусмерти пьем.

Народный праздник в русской деревне показан им в форме отвратительной « пьяной ночи », да и вся-то русская жизнь, если поверить ему, абсолютно лишена каких-либо черт красоты. « Кому живется весело, вольготно на Руси »? — спрашивает этот поэт-гражданин в центральной для его творчества поэме и отвечает: « Никому »... кроме самого Н. А. Некрасова, как острили его современники.

Но вместе с тем Некрасов был трудолюбивым и точным бытоописателем, в силу чего, развертывая перед читателем широкую панораму русского народного типажа, он не мог пройти мимо чисто народных носителей христианской идеи. Показал он их в стихотворениях « Тишина », « Несчастные », « Крестьянские богомолки » вскользь, урывками, но верно и точно. Живописный, чревычайно характерный для русского крестьянства « Влас », несмотря на тенденциозно

примешанные туда Некрасовым « гражданские » мотивы (стяжательство, мироедство и раскаяние в этих грехах), даст знакомый читателю, правдивый и характерный для России образ.

Владимир Соловьев сурово осудил Некрасова, как с религиозной, так и с национальной точек зрения:

Когда же сам разбит, разочарован,
Тоскуя, вспомнил он святую красоту —
Бессильный дух к земной пыли прикован,
Напрасно призывал нетленную мечту...
... Не поднялись коснеющие руки
И бледный призрак тихо отлетел...

В этих строках Владимир Соловьев, так же как и мы, признает загадочность, неясность для нас подлинного душевного мира Н. А. Некрасова, плотно укрытого им служением кумиру дней и златому тельцу. Но одно из стихотворений « поэта-гражданина » проливает немного света в темную область его духа. Вернувшись из заграничной поездки, Некрасов был столь потрясен встречей с родиной, что с его уст сорвалось даже нечто вроде молитвы; его ритмы приблизились к строю арфы Давида.

Все рожь кругом, как степь живая
Ни замков, ни морей, ни гор.
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор...
Храм Божий на горе мелькнул
И детски чистым чувством веры
Внезапно на душу пахнул.
Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой!
Я внял, я детски умилился
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетенных, Бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарем.

Внял ли Всемилостивый покаянной молитве этой заблудшейся души — недоступная нам тайна.

СВЕТА НЕ УГАСИТЕ!

Смрадная, липкая муть духовного застоя, беспросветность безверия, упадок, почти паралич творческих сил царили в разложенном материализмом и нигилизмом русском обществе в конце XIX века, и вдруг, как блистательный метеор, как сноп ярких, светоносных лучей ворвался в эти сумерки голос поэта, философа и богослова Владимира Сергеевича Соловьева.

ИММАНУ-ЭЛЬ

Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда устав от злобы и тревог
Земля в объятьях неба опочила,
И в тишине родился С-нами-Бог.

И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.

Но вечное, что в эту ночь открылось,
Несокрушимо временем оно
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно.

Да! С нами Бог — не там в шатре лазурном,
Не за пределами бечисленных миров,
Не в злом огне и не в дыханье бурном
И не в уснувшей памяти веков.

Он з д е с ь, т е п е р ь, — средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог.
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!

и еще на ту же тему:

Пусть все поругано веками преступлений,
Пусть незапятнанным ничто не сбереглось,
Но совести укор сильнее всех сомнений —
И не погибнет то, что раз в душе зажглось.

Великое не тщетно совершилось
Недаром средь людей явился Бог,
К земле не даром небо преклонилось —
И распахнулся вечности чертог.

В незримых глубинах сознанья векового
Источник истины течет не заглушен;
И над руинами позора векового
Глагол ее звучит как похоронный звон.

Явился в мире свет —
И свет отвергнут тьмою,
Но светит он во тьме,
Где грань добра и зла.

Не властью внешнею,
Но правдою самою
Князь века осужден
И все его дела.

В широких кругах русских читателей Соловьев известен больше, как религиозный философ, моралист-богослов и менее, как поэт. Его философский труд « Оправдание добра » и вся его религиозно-этическая система изучается теперь в высших духовных учебных заведениях западного мира как католических, так и некоторых протестантских. Но русское церковное мышление до сих пор относится к нему предвзято, как к открытому противнику влияния византийских тенденций на подлинную веру отцов, которую философ-богослов В. С. Соловьев смог слить в самом себе с истинами католичества.

На родине, в России, славу В. Соловьеву, как философу, создали его публичные чтения о Богочеловечестве, которым внимала не только рядовая интеллигенция того времени (1878-1881 гг.) и экзальтированное студенчество, которое было в полном смысле слова вырвано В. Соловьевым из цепких когтей материализма, но и такие титаны мысли, как Достоевский, Лев Толстой, Константин Леонтьев, Аксаковы, Хомяков, Лесков, Менделеев... Владимир Соловьев утверждал в этих своих лекциях, что человеку дана Богом возможность и способность углублять и расширять в себе чудесное божественное начало, творить подвиг по собственной свободной воле и при помощи благодати небесной, разлитой по всему миру, при руководстве Премудростью Божией — Святой Софией, вдохновляющей духовное возвышение каждой отдельной человеческой личности. Эти мистические поучения Владимира Соловьева диаметрально противостояли « духу времени » того периода русской общественной жизни, насквозь пропитанной материализмом, позитивизмом и меркантилизмом шестидесятых годов. В. Соловьев вдохновенно боролся с этим « духом » и побеждал его. Он вносил в сознание

современников и последующих поколений живой, действенный идеализм, будил приглушенное религиозное сознание, пробуждал христианскую мысль, внося в богословие неразрывный с юностью каждого человека романтизм — стремление к таинственному, неизведанному... В свете его учения окружающая нас в земной жизни материя претворялась в « светлое тело вечности », одухотворялась дыханием чистоты, святости и красоты творчества Господня.

Внося лирические элементы в свои философские труды, Владимир Соловьев одновременно делал и обратное: утверждал свое религиозно-философское мышление в строках своих лирических стихов. Он отражал в них мотивы своего мистического прозрения, свое ощущение « трепета жизни мировой », мерцавшие в его надсознании отблески вечного первообраза мира в дарованной ему Господом нетленной, нерушимой красоте. София Премудрость Божия, одухотворяющая и направляющая всю мировую жизнь, сливалась для него с туманным образом « вечной женственности », воплощение которой он безуспешно искал на земле в течение всей своей жизни. Видимый, ощутимый мир был для него не реальным, но лишь бледным отражением подлинной реальности исполненного красотой потустороннего мира.

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий —
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?

Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете
Только то, что сердце сердцу
Говорит в немом привете?

Вера В. Соловьева в вечность и неизменность Господней любви побеждает в нем страх смерти.

Смерть и время царят на земле, —
Ты владыками их не зови:
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неизменно лишь солнце любви.

И он молит Мать Предвечного Слова — открыть двери к жизни нетленной.

Всенепорочная Дева Пречистая,
Слова Предвечного Мать и создание!
Слова земной и небесной природы!
Сын Твой и Вышнего Бога сияние, —
О, бесконечности око лучистое!
В веки последние, тяжкие годы
Пристань спасенья, начало свободы
Нам чрез Тебя даровал.
Он одну между всеми избрал,
Он в Тебе возлюбил и грядущие роды.
Открой милосердия двери,
Всеблагодатная, к жизни нетленной
В любви и вере
Душе смиренной.

(Из Петрарка, перевод В. Соловьева).

Мистические взлеты В. Соловьева достигают иногда силы пророчеств, осуществление которых мы теперь видим.

О Русь, забудь былую славу,
Орел двуглавый сокрушен, —

писал он, предчувствуя кровавый революционный хаос. « Чую близость времен, когда христиане будут собираться на молитву в катакомбах, потому что вера будет гонима », говорил он друзьям на смертном одре. Но ощущая, а быть может даже сознавая неизбежность временного господства зла на земле, он провидел и гибель его — победу Добра, искупления и прощения греха. В своем последнем предсмертном стихотворении он писал:

Зло позабытое
Тонет в крови.
Всходит омытое
Солнце любви.

Замыслы смелые
В сердце больном...
Ангелы белые
Встали кругом.

Стройно-воздушные
Те же они
В знойные, душные
Тяжкие дни.

Приглушенная русская религиозная мысль благодаря Соловьеву ожила и засветилась новыми радужными огнями. Новое слово прозвучало в богословии и философии, а в области поэзии возникло и оформилось новое течение символистов, которому суждено было лечь в основу « серебряного века » освобожденной из материалистического плена русской поэзии.

Первым, кто пошел по тропам ритмического слова вслед за поэтом Вл. Соловьевым, был Д. С. Мережковский. Поэтому, если не считать предтеч — Тютчева и самого Соловьева — Мережковского и следует назвать основоположником русского символизма. Эта форма поэтического мышления совпадала для него с углублением в религиозную философию. Но Мережковский стоял на грани двух эпох и, устремившись к блеснувшему перед его духовными очами свету, все же не смог полностью освободиться от тяготевших над ним влияний побежденной этим светом тьмы. « Две бездны », « Христос и Антихрист » — два полюса чувства и мышления одновременно давивших на его психику и разрывавших ее на две части. Попытки примирения этих двух противустоящих сил прошли через всю жизнь Д. С. Мережковского, но не дали мира его творческому духу. Не потому ли в звучаниях арфы Давида он прежде всего и главным образом слышал ее покаянные тона?

Из преисподней вопию
Я, жалом смерти уязвленный:
Росу небесную Твою
Пошли в мой дух ожесточенный.

Люблю я смрад земных утех,
Когда в устах к Тебе моленье —
Люблю я зло, люблю я грех,
Люблю я дерзость преступленья.

Мой Враг глумится надо мной:
« Нет Бога: жар молитв бесплоден ».
Паду ли ниц перед Тобой,
Он молвит: « Встань и будь свободен ».

Бегу ли вновь к Твоей любви, —
Он искушает, горд и злобен:
« Дерзай, познанья плод сорви,
« Ты будешь силой мне подобен ».

Спаси, спаси меня! Я жду,
Я верю, видишь, верю чуду,
Не замолчу, не отойду,
И в дверь Твою стучаться буду.

Во мне горит желаньем кровь,
Во мне таится семя тленья,
О дай мне чистую любовь,
О дай мне слезы умиленья.

И окаянного прости,
Очисти душу мне страданьем —
И разум темный просвети
Ты немерцающим сияньем!

Эмоции символизма, его религиозные устремления всего полнее, всего сильнее выражены талантливейшим из плеяды « серебряного века » Александром Александровичем Блоком, о котором мы говорим в другой главе. Но в выражении их Блок не смог отойти от присущей ему туманности, неясности, загадочности образов и слова, поэтических дефектов, за которые упрекал его ясный, солнечный Н. С. Гумилев. « Где-то высоко у Царских Врат причастный к тайне... », « Вхожу ли я в темные храмы », где « высоко по карнизам бегут улыбки, сказки и сны » — все это только предчувствие, преддверие Тайны, но не прямое устремление к ней. Такова вся поэзия А. Блока, таков и его религиозный мир, в котором нежный образ Богоматери и Святая София — Премудрость Божия сливаются с « Девой Радужных Ворот », « Прекрасной Дамой » и даже « Незнакомкой ».

Полную ясность в религиозное мышление русских символистов внес, да и то лишь под конец своей жизни, идеолог и теоретик этого поэтического течения Вячеслав Иванович Иванов.

Полна чудес и закончена чудесным просветлением жизнь этого замечательного человека. В молодости В. Иванов жадно и безудержно поглощает знания. Он, отмеченный своим знаменитым учителем Моммзеном, историк, археолог, теоретик филологии и лингвист, переводчик Эсхила, потом поэт, литературный критик, автор ряда глубоких философ-

ских статей по искусству, в которых он пытается примирить Ницше, Диониса и Христа. В течении символистов ему принадлежит место метра и теоретика этой поэтической школы. Литературные беседы на « Башне » — так называлась квартира В. Иванова в Петербурге — привлекали туда чуть ли не всех выдающихся в области искусства, литературы и философии людей столицы и прочесть свои стихи на « Башне » В. Иванова означало для поэтов вступление на российский Парнасс. К этому были основания. В. И. Иванов действительно обладал не только тонким литературным вкусом, но и поэтическим чутьем, позволившим ему, например, почувствовать в первом стихотворении скромной девицы Горенко — будущую Анну Ахматову.

Но в религиозном мышлении поэта-философа В. Иванова в те годы его жизни царил бурный хаос, полный исканий, метаний и тоски, что свойственно большинству русских поэтов-символистов. Ведь пытался же Д. С. Мережковский примирить Христа и Антихриста, а другой символист, меньшего калибра, Федор Сологуб докатился до того, что самого себя объявил сыном Сатаны, и лишь к концу жизни, испытав тяжкие удары революции, отрекся от былых богохульств, от всего написанного им, и в последнем своем чисто молитвенном стихотворении просил Христа:

У Тебя, Милосердного Бога,
Много славы и света и сил.
Дай мне жизни земной хоть немного,
Чтоб я новые песни сложил.

Вячеслав Иванов избег подобной трагедии. Духовное просветление пришло к нему задолго до конца его дней, и он смог, переселившись в начале двадцатых годов из советской России в Рим и приняв там католичество, резко изменить свою творческую направленность. О жизни своей души в прошлом он писал, как о « пути в Эммаус ».

День третий рдяные ветрила
К закатным пристаням понес...
В душе — Голгофа и могила,
И спор, и смута и вопрос...

И беспощадная коварно
Везде стоит на страже Ночь, —
А солнце тонет лучезарно,
Ее не в силах превозмочь...

И неизбежное зияет,
И сердце душит узкий гроб,
И где-то белое сияет
Над мраком зол, над морем злоб.

И женщин белых восклицанья
В бреду благовестят — про что?
Но с помованьем отрицанья,
Качая мглой, встает Ничто...

И Кто-то, странный, по дороге
К нам пристает и говорит
О жертвенном, о мертвом Боге
И сердце — дышит и горит.

Но духовное просветление свершилось и новый творческий путь поэта В. Иванова лег от Дионисовых оргий к Тайной Вечере, от руин античного языческого Рима к тихой святости древнего Радонежа.

Мария, Дева Мать! Ты любишь этих гор
Пещеры и ключи, и пастбища над бором,
И дани роз Твоих от пастырей, чьим взорам
Являешься, надев их бедных дев убор.

Пречистая, внемли! Не с ангельским собором,
Клубящим по небу Твой звездный омофор,
Когда за всенощной Тебя величит хор, —
Владычицей Земли предстань родным просторам.

Полей, исхоженных Христом, в годину кар
Стена незримая, Ты, в пламени пожаров
Неопалимая гнала толпы татар.

К струям святых озер с крутых лесистых яров
Сойди, влача лазурь, — столь нежной тайны дар
И древлий Радонеж и девий помнит Саров!

Восприятие истины Вселенской Церкви не только не повернуло лицом поэта Вячеслава Иванова всецело к латино-германскому Западу, но наоборот, он, преклонявшийся до того перед культурой языческого Запада именно в этот период его жизни и устремил свой духовный взор к религиозным ценностям родного ему по крови русского христианства. Компасом к этому был для него Владимир Соловьев и его слова, произнесенные на смертном одре « Трудна работа Господня », ставит В. Иванов эпиграфом к своему стиху о Святой Горе.

СТИХ О СВЯТОЙ ГОРЕ

« Трудна работа Господня ».

Ты святися, наша мати — Земля Святорусская!
На твоем ли просторе великом,
На твоем ли раздолье широком,
Что промеж Студеного моря и Теплого,
За теми лесами высокими,
За теми озерами глубокими,
Стоит гора до поднебесья.
Уж и к той ли горе дороги неезжены,
И тропы к горе неторены,
А и конному пути заказаны,
И пешему заповеданы;
А и Господь ли кому те пути открыл —
И того следы не слежены.
Как на той на горе светловерхой
Труждаются святые угодники,
Подвизаются верные подвижники,
Ставят церковь соборную богомольную;
А числом угодники не числены,
Честным именем подвижники не явлены,
Не явлены — не изглаголены.
И строючи ту церковь нагорную
Те ли угодники Божии, подвижники,
Что сами творят, не видят, не ведают,
Незримое зиждут благолепие.
А и камение тешут — оно болеется,
А и камение складывают — оно не видится.
А и стены ль кладут, аль подстение,
Аль столпы ставят опорные,
Аль своды сводят светлосенные,
Али главы кроют зарные, червонные,
Аль чесные пишут образы со писания, —
И то угодники ведают, не видючи,
И того мы, люди, не ведаем.
Как приходит на гору Царица Небесная,
Ей взропщутся угодники все, всплачутся:
« Гой еси Ты, Матерь Пречистая!
Мы почто, почто труждаемся, подвизаемся
Зодчеством, красным художеством
В терпении и во уповании,
А что творим — не видим, не ведаем,
Незримое зиждим благолепие.

Ты яви миру церковь невиданную,
Ты яви миру церковь заповеданную,»
Им возговорит Царица Небесная:
«Уж вы Богу присные угодники,
А миру вы славные светильники,
О святой Руси умильные печальники!
Вы труждайтеся, подвизайтеся,
Красы-славы для церкви незримые
Зодчеством, красным художеством,
В терпении верном, во уповании.
А времен Божьих не пытайте,
Ни сроков оных не искушайте,
Не искушайте — не выведывайте.
Как сама я той годиной пресветлою,
Как сама я, Мати, во храм сойду:
Просветится гора поднебесная,
И явится на ней церковь созданная,
Вам в обрадование и во оправдание,
И Руси великой во освящение
И всему миру Божьему во осияние».
Тут ей Божьи угодники поклонилися:
«Слава Тебе, Матерь Пречистая!
Уж утешно ты трудничков утешила,
Что надежно смиренных обнадежила:
Им по слову Твоему святому да сбудется».
А поется стих во славу Божию,
Добрым людям в послушание,
В умиление и во упование.

◇◇◇

ПРЕДЧУВСТВИЕ ВОЗМЕЗДИЯ

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы дети страшных лет России
Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумье ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.
Есть немота — то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, встревоженных когда-то,
Есть роковая пустота.
И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье, —
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят царствие Твое!

Так на рубеже двух столетий, в годы, предшествовавшие роковым для России катастрофам, писал крупнейший поэт того времени Александр Александрович Блок.

Вся поэзия Блока, все его поэтическое наследие проникнуто мотивами предчувствия неизбежной катастрофы, страшного возмездия за сотворенный грех. В чем именно состояла эта греховность обреченного на искупительные страдания народа, Блок не в силах рассказать словами. Быть может он и сам умом, рационалистически, не мог этого постигнуть, но лишь интуитивно чувствовал всеми фибрами своей тонкой, многогранной души. Разъяснить этот грех предстояло другому поэту, его современнику — Максимиллиану Волошину, о чем мы скажем ниже. Блок лишь чувствовал и, как свидетельствуют его современники, не только чувствовал, но в течение последних месяцев своей земной жизни физически слышал грозные подземные гулы уже сотрясавшие мир и прежде всего горячо любимую им родину — Россию.

Как в натуре, так и в поэзии Александра Блока — множество противоречий. Историки литературы и критики до сих пор ведут споры о них. Вряд ли когда-нибудь наступит конец этим спорам, ведь дар поэта чрезвычайно близок к дару пророка, что гениально высказал еще А. С. Пушкин, а к большинству пророчеств можно с известной натяжкой давать совершенно различные трактовки. Так объясняют

теперь и поэтические пророчества Блока. Некоторые историки литературы называют его даже атеистом или во всяком случае поэтом очень далеким от христианских идеалов, туманным эстетом-символиком, язычником по своему духу.

Верно ли это? Если мы внимательно проследим все развитие творческой направленности Блока, то ясно увидим в нем среди метаний и блужданий безотрывную связь его духа с христианством. Одухотворявшая его любовь к родине тесно слита с духом родного народа, его глубокою верою в милость Господню, в силу молитвы и спасение через нее.

Я не первый воин, не последний...
Будет долго родина больна...
Помяни за раннею обедней
Мила друга верная жена...

молится накануне Куликовской битвы русский ратник-христолюбец. И не так ли молится и сам Блок, находя прибежище от обуревающих его душу смятений лишь в молитве к Заступнице царства Российского, Богородице, Домом которой называлось это царство.

Ты ушла в поля без возврата,
Да святится имя Твое.
Снова красные копья заката
Протянули ко мне острие.
Лишь к Твоей золотой свирели
В черный день устами прильну...
Если все мольбы отзвенели,
Утомленный в поле усну.
О, исторгни ржавую душу,
Со святыми ее упокой,
Ты, держащая море и сушу
Неподвижною, тонкой рукой.

Блок не может отказаться от символической эстетики, ярчайшим выразителем которой он стал в русской поэзии. Но под туманным налетом эстетической формы в его стихах явно слышны те же молитвенные мотивы арфы Давида, которой проникнуты все лучшие произведения крупнейших русских поэтов. Они звучат даже в его предсмертной поэме « Двенадцать », которую некоторые искусствоведы и литературоведы называют кощунственной. Смысл этой

поэмы до сих пор еще загадочен и разъяснение многих ее строк придет лишь в дальнейшем, когда станут ясны исторические судьбы нашей родины, смысл постигших ее страданий, когда сотворенный грех будет окончательно искуплен и прощен Господом.

Черный вечер — белый снег.
Ветер, ветер... На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер на всем Божьем свете.

Такими словами начинает Александр Блок свою замечательную, пророческую, как мы смеем утверждать, поэму « Двенадцать ».

Черная, непроглядная тьма окутала всю страну. В этой тьме неизвестно куда, неизвестно зачем бредут двенадцать человек... Это они?

В зубах цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз...

Они, залитые кровью злодеи, убийцы, разрушители всех священных основ русского духа, поправшие все святое, отрекшиеся от Христа и своей родины.

Товарищ, винтовку держи, не трусь.
Пальнем-ка пулей в Святую Русь.

Таков их лозунг: попрание, разрушение, уничтожение! Кажется, нет спасения тем, кто « пути не знает своего », этим « детям темных лет России », и все же, подчиняясь каким-то неземным велениям, поэт, непонятно для самого себя, как он говорил своим друзьям, вводит в конце этого своего, вероятно, самого значительного произведения светлый образ Христа, несущийся среди тьмы и вьюги впереди банды убийц и палачей.

Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
И от пули невредим,
И за вьюгой невидим,
В белом венчике из роз
Впереди Исус Христос.

Что это? Кощунство? Как смеет поэт поставить впереди грешников и убийц светлый образ Спасителя мира?

Но ведь такие же убийцы и разбойники висели распятыми на крестах на Голгофе, где один из них, просветленный

искупительным страданием, взмолился Спасителю: « Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствие Твое». « Ныне будешь со мною в раю », ответил тогда этому просветленному Искупитель.

Не эту ли великую тайну, тайну искупления страданием отразил Блок в поэме « Двенадцать », отразил туманно-пророчески, но вместе с тем вдохновенно?

Разъяснение сотворенного всею нацией греха мы находим в строках современника, но вместе с тем идейного и литературного противника Блока, Николая Степановича Гумилева, другого крупнейшего поэта той же мрачной эпохи, погибшего от руки палачей в застенке НКВД.

Он видит этот грех в забвении Слова Господня, в утрате духовного мироощущения и предании себя суетным, земным, материально-меркантильным вожделениям, что совершенно ясно высказывает в потрясающем стихотворении « Слово ».

В оны дни, когда над миром новым
Бог простер чело Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Когда, словно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не дерзая обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Так для низких мыслей были числа,
Как домашний подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Хитрое число передает.

Но забыв, что в мире осиянно
Только Слово меж земных тревог
И в евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово — это Бог,

Мы ему поставили пределом
Жалкие пределы естества
И, как соты в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

И Гумилев, и Блок погибли в начале двадцатых годов текущего столетия, в период самой густой мглы охватившего Россию безвременья и хаоса. Многое, очень многое даже из современного им было этим поэтам далеко не ясно.



Гумилев и Ахматова с безвременно погибшим сыном

Они оба чувствовали, ощущали бремя греховности, видели и принимали, как кару Божию, наступившее возмездие, но были не в силах еще точно и ясно формулировать саму греховность, ее основные элементы, укрепить и связать их с искупительным покаянием. Это предстояло сделать пережившему их на десятилетие поэту — Максимиллиану Волошину, крещенному морем пролитой революцией русской крови.

Поддалась лихому подговору,
Отдалась разбойнику и вору,
Подожгла посады и хлеба,
Разорила древние жилища,
И пошла, поруганной и нищей,
И рабой последнего раба

Так пишет он о вступившей в последний круг адского наваждения России. Но сознавая этот всеобщий грех, Максимиллиан Волошин не смеет дать своего осуждения ему и, вдохновленный всепрощением христианства, продолжает:

Я ль в тебя посмею бросить камень,
Осужу ли страстный, буйный пламень,
В грязь лицом тебе ль не поклонюсь,
След босой ноги благословляя, —
Ты — бездомная, гулящая, хмельная,
Во Христе юродивая Русь.

Эти строки написаны поэтом 19-го ноября 1917 года. Далее он развивает ту же идею в позже написанном стихотворении « Русь глухонемая »:

Был к Иисусу приведен
Родными отрок бесноватый:
Со скрежетом и в пене он
Валялся, корчами объятый.
« Изыди, дух глухонемой » —
Сказал Господь. И демон злой
Сотряс его и с криком вышел.
И отрок понимал и слышал.
Был спор учеников о том,
Что не был им тот бес покорен,
А Он сказал: « Сей род упорен:
Молитвой только и постом
Его природа одолима ».
Не тем ли духом одержима
Ты, Русь глухонемая? Бес,
Укрыв твой разум и свободу,
Тебя кидает в огнь и воду,
О камни бьет и гонит в лес.
И вот взываем мы: Прииди...
И избранный в дали от битв
Кует постами меч молитв
И скоро скажет: — « Бес, изыди »!

В этом стихотворении мотив возмездия за грехи уже тесно сплетается с верою в искупление путем страдания. Поэт не отделяет атома от целого, своей личной индивидуальности от жизни и судеб своего народа. Он готов к жертвенности, к личной гибели, к своему собственному пути на Голгофу.

С каждым днем все диче и все глуше
Мертвая цепенеет ночь.
Смрадный ветер, как свечи, жизни тушит,
Не позвать, ни крикнуть, не помочь.
Темен жребий русского поэта,
Неисповедимый рок ведет

Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского — на эшафот.
Может быть такой же жребий выну,
Горькая детоубийца Русь,
И на дне твоих подвалов сгину
Иль в кровавой луже поскользнусь.
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь —
Доконает голод или злоба, —
Но судьбы не отрекусь иной,
Умирать — так умирать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба.

Это стихотворение посвящено Максимиллианом Волошиным двум своим близким предшественникам, погибшим Николаю Гумилеву и Александру Блоку. Он пережил их на земле. Он уже смог разглядеть, казалось бы, в непроглядной тьме первые лучи милости Господней, грядущего искупления. Этот мотив арфы Давида полноценно и громозвучно звенит в его стихотворении « Заклятье »:

Из крови, пролитой в боях,
Из праха обращенных в прах,
Из мук казненных поколений,
Из душ, крестившихся в крови,
Из ненавидящей любви,
Из преступлений, искуплений —
В о з н и к н е т п р а в е д н а я Р у с ь .
Я за нее одну молюсь
И верю замыслам предвечным:
Ее куют ударом мечным,
Она мостится на костях, —
Она святится в ярых битвах,
На жгучих строится мощах,
В безумных плавится молитвах.

Полной оптимизма, чисто христианской религиозностью дышит каждая строка этого стихотворения. Максимиллиан Волошин молится в нем за всех и за вся: и за праведников и за грешников, и за палачей и за их жертвы. Он видит, как его современники, отвергнув Бога, впали во власть бесов, но вместе с тем он знает и проникновенные слова Достоевского, утверждающие, что « мир спасется после посещения его злым духом ». Полный упования на милость Господню, Максимиллиан Волошин предрекает своей родине стать вестником вселенской любви, пройдя через искупительную кровавую купель нечеловеческих страданий.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХА

Умолкнули последние отзвуки арфы Давида в строках русских поэтов. Блок и Гумилев в могилах. В вынужденном иноческом уединении, замкнутый в круг принудительного молчания угасает Максимиллиан Волошин. Толпы осатаневшей русской молодежи в дикой свистопляске проносятся по улицам городов и деревень с богохульным напевом :

Долой, долой монахов,
Долой, долой попов!
На небо мы взберемся,
Разгоним всех богов.

Оскверняются и разрушаются храмы Господни, варварски уничтожаются бесценные древние иконы и, что ужаснее всего, овладевшая Россией сатанинская власть всеми ставшими доступными ей средствами и силами стремится вытравить в сердцах новых поколений не только само Слово Христово, но даже память о Нем. Само имя Искупителя ставится под запрет. Казалось бы, черная тьма окончательно овладела Святою Русью, и не брезжит ни откуда луч просвета...

Но угасает ли совесть в сердцах русских поэтов того времени? Умолкают ли в них созвучия покаянной арфы?

Ответа на этот вопрос мы поищем в творчестве самого популярного поэта того времени, кумира всей русской молодежи первого десятилетия революции, голос которого и теперь заставляет трепетать сердца уже новых, народившихся и воспитавшихся в дальнейшем поколений русских людей. Спросим Сергея Есенина, и он ответит нам своей покаянной предсмертной поэмой « Черный человек », страшным, потрясающим выкриком обугленного страданием, спаленного сердца.

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен!
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.
Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица,

Ей на шее ноги
Маячить больше невмочь.
Черный человек,
Черный, черный,
Черный человек
На кровать ко мне садится.
Черный человек
Спать не дает мне всю ночь.
Черный человек
Водит пальцем по мерзкой книге
И, гнусавя надо мной,
Как над усопшим монах,
Читает мне жизнь
Какого-то прохвоста и забулдыги,
Нагоняя на душу тоску и страх.
Черный человек,
Черный, черный...

. . . .

Ночь морозная.
Тих покой перекрестка.
Я один у окошка,
Ни гостя, ни друга не жду.
Вся равнина покрыта
Сыпучею мягкой известкой
И деревья, как всадники,
Съехались в нашем саду.
Где-то плачет
Ночная зловещая птица,
Деревянные всадники
Сеют копытный стук.
Вот опять этот черный
На кресло ко мне садится...

. . . .

Черный человек!
Ты прескверный гость.
Эта слава давно
Про тебя разносится!
Я взбешен, разъярен
И летит моя трость
Прямо к морде его
В переносицу.

Совесть неугасима в человеческой душе. Она тоже дар Божий. Она — предостережение от наползающего на сердце

зла. Глубоко грешный в своей земной жизни Сергей Александрович Есенин, не устоявший в ней против окружавших его суетных соблазнов, вопреки их тлетворному влиянию сохранил совесть, эту последнюю искру Божию в своей душе, сохранил ее вместе с верой в « Светлого Спаса и Пречистую Матерь Его ». Именно в силу этой сохранности веры в глубинах своей загаженной извне души он молит в своих предсмертных стихах:

И за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положи меня в белой рубашке
Под иконами умирать.

Господь не даровал ему такой христианской кончины. Страшною, постыдною смертью закончил свой жизненный путь последний поэт крестьянской Руси, последний василек на скошенной ржаной ниве.

Сергей Есенин не только происходил из крестьянской семьи Рязанской губернии, но и был воспитан, выращен в крестьянской семье в духе и заветах патриархального мужицкого быта. А ведь эта крестьянская патриархальность неразрывна с именем Господним. Отсюда и вся поэзия Есенина, несмотря на ее порою даже кощунственные оттенки, неотделима от имени Христова, от образа Пречистой Матери Его, от облика Скорого Помощника, Спасителя на водах, Николы Милостивого, Николы Угодника, от чисто русских праздников — Радуницы, Покрова... Окружавшая мальчика природа неразрывно ассоциируется в его сердце с религиозными представлениями: спелые гроздья багряной калины кажутся ему святыми язвами на теле Христовом; заступница Царица Небесная лелеет и охраняет не только детские души, но и скот, рожденный на крестьянских дворах:

Не потому ль в березовых
Кустах поет сверчок,
О том, как ликом розовым
Окапал рожь восток,
О том, как Богородица,
Накинув синий плат,
У облачной околицы
Скликает в рай телят?

Грубо? Примитивно? Не отвечает требованиям утонченного вкуса, написано по-мужицки? Но не забудем того, что

поэт Сергей Есенин — плоть от плоти, кость от кости русского мужика. Дар Божий — его поэтический талант позволяет ему выражать свои чувства в гармоничных созвучиях, но воспринимает он эти чувства по-крестьянски, по-мужицки, с полей, из лесной тиши, с залитых солнцем лугов из милости Божией хлеборобу-крестьянину.

Потому же и сам Заступник Святой Руси епископ Мир Ликийских видится ему не в грозном облике воина Христова, победителя еретика Ария, но в нищем виде странника и богомольца за землю русскую, за ее страждущий народ, бродящего по пустынным дорогам, дебрям и весям Святой, нищей, страждущей Руси. Таким рисует его Сергей Есенин в своей небольшой поэме « Микола ». Именно Микола, а не Никола и не Николай.

В шапке облачного скола,
В лапоточках, словно тень,
Ходит Милостник Микола
Между сел и деревень.

На плечах его котомка,
Стягловица в две тесьмы;
Он идет, поет негромко
Иорданские псалмы.

Злые скорби, злое горе,
Даль холодная впила,
Загораются, как зори,
В синем небе купола.

Наклонивши лик свой кроткий,
Дремлет ряд плакучих ив,
И, как шелковые четки,
Веток бисерный извив.

Ходит ласковый угодник,
Пот елейный льет с лица.
— Ой ты, лес мой хороводник,
Прибаюкай пришлеца! —

Ходит странник по дорогам,
Где зовут его в беде,
И с земли гуторит с Богом
В белой туче-бороде.

Говорит Господь с Престола,
Приоткрыв окно за рай:

О мой верный раб Микола,
Обойди ты русский край.

Защити там в черных бедах
Скорбью вытерзанный люд,
Помолись с ним о победах
И за нищий их уют.

Ходит странник по трактирам,
Говорит, завидя сход:
Я пришел к вам, братья, с миром,
Исцелить печаль забот.

Ваши души к подорожью
Тянет с посохом сума.
Собирайте милость Божью
Спелой рожью в закрома.

. . . .

На престоле светит зорче
В алых ризах кроткий Спас...
Миколае Чудотворче
Помолись Ему за нас. »

Мог ли человек совершенно утративший веру в Пречистого Спаса и крепче всех излюбленного им Чудотворца написать эти строки? Ответ ясен. Конечно, не мог. Он не получил бы от Господа того вдохновенного песенного дара, которым, несомненно, обладал этот беспутный и грешный скиталец по жизненным тропам.

Есенин был в то время действительным обладетелем сердец нескольких новых, выраставших на Руси поколений, не знавших, правда, великих истин христианства, но вместе с тем свободных от растлевающих влияний позитивизма и либерализма, растливших ум и душу предшествовавших им поколений русской интеллигенции XIX века. О силе господства Есенина в сердцах русской молодежи достаточно свидетельствует такой факт: после его трагической смерти по всей России стали стихийно возникать группы молодежи обрекавшие себя на самоубийство, которое они обычно совершали под тенью березок — дерева, посвященного Есенину, русского дерева, как бы олицетворявшего собою его нежную, душистую поэзию. Это была трагичная эпидемия самоубийств, свидетельствовавшая о глубоком кризисе, поразившем наполненные чуждым содержанием души русской молодежи. Кризис этот ни Есенин, ни оторванные

от христианства его братья по духу не имели сил преодолеть. « Значение Есенина именно в том — пишет Георгий Иванов — что он оказался как раз на уровне сознания русского народа « страшных лет России », совпал с ним до конца, стал синонимом ее падения и ее стремления возродиться. » Вера, хотя бы подсознательно, — в форме уважения « к всему, что человеку свято », все же жила в этих опустошенных душах, и она прорвалась в негодующем стихотворении того же Есенина, поднявшего свой голос за Христа оскорбленного бездарным версификатором Демьяном Бедным, напечатавшим свое кощунственное произведение « Евангелие от Демьяна ». Приводим сокращенно выдержки из этого письма Есенина, конечно, не напечатанного ни в одном коммунистическом журнале, однако, с необычайной быстротой распространенного в рукописях по всей России и получившего созвучие в миллионах сердец:

Я часто думаю: за что Его казнили?
За то, что Он пожертвовал своею головой,
За то, что Он субботы враг и всякой гнили
Отважно поднял голос Свой?
За то ли, что в стране проконсула Пилата,
Где культом кесаря полны и свет и тень,
Он с кучкой рыбаков из бедных деревень
За кесарем признал лишь силу злата?
За то ли, что себя, на части разрубя,
Он к горю каждого был милосерд и чуток,
И всех благословлял, мучительно любя,
И маленьких детей и грязных проституток.
Пусть Будда, Моисей, Конфуций и Христос —
Далекий чудный миф, мы это понимаем,
Но ведь нельзя ж, как годовалый пес,
На все и вся захлебываться лаем.
Пусть миф Христос, как мифом был Сократ,
Пусть не было Христа, как не было Сократа,
Что из того?... Но ведь нельзя подряд
Плевать на все, что в человеке свято.
Ты испытал, Демьян, всего один арест,
И ты кричишь: « Ах, крест мне выпал лютый ».
А что, если б тебе голгофский дали крест
Иль чашу с едкою цикутой?
Хватило б у тебя величья до конца
В последний час по их примеру тоже
Благословлять весь мир под тернием венца
И о бессмертии учить на смертном ложе?

Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил,
Ты не задел Его своим пером нимало.
Иуда был, разбойник был,
Тебя лишь только нехватало.
Но знаешь ли, Демьян, в « Евангельи » твоем
Я не нашел правдивого ответа.
В нем много бойких слов, о как их много в нем,
Но слова нет, достойного поэта.
. . . .
Ты сгустки крови у подножия креста
Хватил ноздрей, как разжиревший боров,
Ты только хрюкнул на Христа,
Демьян Лакеевич Придворов!

В годы, последовавшие за трагической смертью Есенина, казалось бы, черный занавес опустился над русской поэзией, и замолкли в ней аккорды то покаянной, то обличительной по отношению ко злу, то полной светлой веры в искупление и торжество добра арфы псалмопевца. Бездушные, мертвые слова восхваления лживым кумирам рекой полились из-под пера новых поэтов. Шли ли они от души или, наоборот, — от силы, поработившей эту душу, — трудно ответить на этот вопрос, но некоторый свет на него проливает самоубийство другого поэта той же эпохи, Владимира Маяковского, полностью отдавшего себя и свой талант на службу коммунистическому Молоху, опустошенного этим Молохом и провалившегося в собственную пустоту.

Прошло полтора десятилетия, и в подсознательных глубинах выросших за это время новых поколений возродились позывы к тем же мотивам, к напевам арфы Давида. Страшные, потрясшие всю нацию годы второй мировой войны всколыхнули в ней прежде всего ее патриотические чувства. Не за « светлое будущее коммунизма », но за родную страну, за тысячелетнюю Русь, Святую Русь встал нерушимой стеной весь русский народ — встал и тотчас же на его устах зазвучало неразрывное с русским национальным самосознанием имя Христово, имя Милостивого Спаса. Из народных глубин оно немедленно перенеслось в уста наиболее чутких, наиболее талантливых молодых поэтов и чудесно прозвучало даже в строках коммуниста К. Симонова:

Ты помнишь, Алеша,
Дороги смоленщины,
Как шли бесконечные злые дожди,
Как крынки несли нам усталые женщины,

Прижав, как детей, от дождя их к груди,
Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: « Господь вас спаси »,
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси!
Слезами измеренный, больше чем верстами,
Шел тракт, на пригорьях скрываясь из глаз,
Деревни, деревни, деревни с погостами —
Как будто на них вся Россия слилась.
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.

Не верящих ли? Неужели замолкла, окончательно замолкла арфа псалмопевца в душах и на устах новых, современных нам русских-поэтов? Спросим снова их самих, спросим тех, кому Господь ниспослал счастливый жребий вырваться из плена коммунистического Молоха и заговорить полным голосом, от всего сердца. Спросим новых, народившихся уже в зарубежье поэтов, могущих и смеющих петь не под каммертон коммунистической критики, но свободным духом и свободным голосом. Спросим и получим ответ.

Молчавший в период своего духовного плена в СССР и заговоривший, вырвавшись на волю, поэт Д. Кленовский озаглавил свою первую книгу « Навстречу небу » и в ней, в форме, близкой к апокрифу первых веков христианства, рассказывает о пути, пройденном его музой, о вдохновенном пути к Господу.

В каком виде, в какой одежде пришла вдохновительница к нему, воспитанному в атмосфере атеизма и исторического материализма? Наложило ли это мировоззрение свою печать на его душу и творчество? Вытравлены ли из его сердца светлые, святые образы сеятелей добра, воспринятые им в ранней юности?

Д. Кленовский пишет:

Когда апостол Иоанн
В ночи повествовал о Боге,
Нежданной гостьей дальних стран
Явилась муза на пороге.

Блистательно обнажена,
Она едва внимала Слову.

Казалось, вот сейчас она
Покинет этот кров суровый.

Но слово зрело и цвело,
Переливаясь теплой кровью,
То мудростью спокойной жгло,
То кроткой мучило любовью.

И муза ближе подошла
И, кутаясь в овечьи шкуры,
На край убогого стола
Присела девочкою хмурой.

И длилась ночь. И пел рассказ.
И незаметная дотоле
Морщинка меж лучистых глаз
Легла, чтоб не исчезнуть боле.

И жалость скорбью обожгла
Уста, и навсегда богиня
Голгофы отсвет пролила
В прозрачный мед своей латыни.

На шее девственной она
С тех пор прохладный крестик носит
И терпелива и нежна
Для нас у Бога песен просит.

Путь, пройденный музой от « овечьих шкур » дионисовых оргий и « прозрачного меда латыни », до « прохладного крестика на девственной шее », это путь возрождения духа самого Д. Кленовского, большого, углубленного в космические тайны поэта, прямого потомка и последователя Тютчева. « Морщинка меж лучистых глаз » на лике музы — это шрамик на духовном лице самого поэта, нанесенный тем же терновником, который терзал главу Христа. Об этом Д. Кленовский повествует в другом своем стихотворении, так и названном им « Терновник »:

Снежной пеной, кружевом нездешним
Весь — несбыточная чистота,
Вот он вьется по оврагам вешним,
Деревце, терзавшее Христа!

Мне таким тебя увидеть снова.
Для меня ты в памяти цвело
Только каплями тяжелой крови,
Умывавшей Бледное Чело.

И забыл я, что в начале мая
Ты цветешь, как в мире все цветет,
Солнечным лучом благоухаешь,
Вяжешь плод и расточаешь мед.

Что тебя в душевную больницу
Некрасивым девушкам несут,
И когда последний сон им снится,
Снова с Ним встречаешься ты тут.

И пред Ним, Невинным, ты предстанешь,
На тебя Он ясный взор прольет,
Потому что ты не только ранишь,
Но цветешь, как в мире все цветет.

Глубочайший, чисто христианский, светлый оптимизм веры, купленный ценою страдания, вот аромат, которым дышит это стихотворение.

То же неудержимое устремление к горним высотам духа мы видим и у другой вышедшей из того же адского круга поэтессы, но попавшей в свободный мир еще юной, с необугленной, не кровоточащей душой. Аглая Шишкова намного моложе Д. Кленовского, подсоветская действительность не успела еще изранить ее неокрепшую душу. Отсюда ее радость при восприятии созданной Богом, дарованной Им человеку радостной земной жизни, глубоко и искренне высказанная ею в поэме ...о грибах, которые собирает эта девушка-поэт в баварском лесу и радуется, видя в каждом из них всю красоту мироздания.

Но в ней нет твердости, ясности мышления и уверенности в себе, как у Д. Кленовского. Новый, открывшийся пред ее свободным теперь зрением многогранный мир пугает, устрашает путницу. Она поражена им и не в состоянии отыскать свою девичью путинку в лабиринте его дорог и дорожек. К кому же прибегнуть? У кого попросить помощи? Конечно, к Ней, и только к Ней, к Заступнице, Царице Небесной, Всех Скорбящих Радости.

На опушке, за пропашинкой
Купол в липовом плену.
С богомолкою-монашенкой
Я в часовню загляну.

У холодного подножия
Прислоню и свой венок:
Помоги мне, Матерь Божия,
В бездорожии дорог...

Чтоб нечаянной развязкою
Утолилася печаль,
Чтоб Твоей согрелась ласкою
Для бездомной чужедаль.

Эти поэты и множество других, внутренно близких им, вырастали и формировались в атмосфере воинствовавшего безбожия.

Что освещало их внутренний творческий путь? Кто звал их к струнам арфы? Маяковский ли, пытавшийся с несомненно большой талантливостью зарифмовать тезисы так называемого диалектического материализма, или безвременно погибший, писавший так, как поют славу Господу лесные птицы, Сергей Есенин? И сколько близких, подобных им, но не смеющих коснуться перстами арфы Давида, подспудно томится в беспределях подъяремной, попранной дьяволом, но все же... Святой Руси?



ВИФЛИЕМСКАЯ ЗВЕЗДА

Только те поэты, чье творчество неразрывно связано с мышлением, чаяниями и всем психическим строем современных им поколений, могут надеяться на то, что их слово, их призывы и их веления не угаснут вместе со смертью их тела, но будут жить в сердцах их потомков. Труден, тяжел и тернист творческий путь таких поэтов. Им предназначено улавливать в сердцах людей неясные, едва лишь ощутимые звучания, которые порой непонятны даже их носителям, но осознаются ими в дальнейшем уже со слов поэта. Поэт же обязан услышать эти звучания, понять их направленность, отлить их в стройную форму и возвестить мощным колокольным звоном своего творческого дара. Именно таким глашатаем духовных тайн вступившего в жизнь после революции поколения русских людей является Дмитрий Кленовский. Поэтому в этой главе мы снова вернемся к нему. Как только он смог вырваться из тьмы, окутавшей его родину, как только он смог запеть во весь голос, он запел гимн Творцу, любовь и устремление к которому переполняло его душу.

Звездным небом и моей душою
Ты твердишь, что существуешь Ты,

воскликнул он.

Как слепой ребенок от рожденья,
Материнского не знав лица,
Все-таки запомнил шопот, пенье,
Бережной руки прикосновенье,
Теплоту и нежность без конца. —
Так и я, Тебя не видя, знаю;
Разуму земному вопреки,
Я Твое дыханье ощущаю,
Песню слышу, шопот понимаю,
Чувствую тепло Твоей руки.

Из этого, не внушенного извне, но рожденного в его душе, вместе с нею, богопонимания и богоощущения Дмитрия Кленовского вытекает и направленность всего его творчества, его « символ веры » поэта, определение своего назначения, своих прав и обязанностей по отношению к человеку — к современнику и к потомку.

Поэту наших сумрачных дней он приказывает устремляться в высь, к сияющему небу, к звездной ризе Господней и черпать там, только там, силу, оживляющую и укрепляющую его слово, — глагол миров.

Гляди все выше ты,
Читай без слов
По небу вышитый
Глагол миров!
Пусть сила грозная
Ломает дверь,
На небо звездное
Смотри и верь!

Прочтенные на небесной скрижали Господа глаголы поэт обязан донести до людей и щедрой рукою разметать их искры по обнищавшей духом земле, ибо он умудрен, он знает то, что лишь смутно ощущают, чего лишь жаждут другие.

... Обретенным знанием своим
Делиться должен каждый в мире сущий,
И наша очередь теперь другим
Дать обещанье радости грядущей.
И мы слагаем песни и, таясь,
Бредем от человека к человеку
Сквозь темноту, и боль, и кровь, и грязь —
Рапсодами трагического века.

Ощущение себя таким рапсодом, обязанным нести Господне обетование « от человека к человеку », определяет творчество поэта, как деяние апостольское, и своим святым предтечам на этом пути Д. Кленовский посвящает пламенно-трогательные строки.

Они — свидетели. Они видали.
Пред взором их в те дивные года
Калеки шли и мертвецы вставали,
Сиял Фавор, вином цвела вода.
И потому их слово непреложно,
И углем жжет их вдохновенный взгляд,
И даже невозможное возможно,
Когда они об этом говорят.
Они не лгут! И наше утешенье —
Глоток тепла среди житейских стуж —
Поверить в их высокое волненье
Свидетельство их потрясенных душ!

. . . .

Дойти! Сказать! Поведать всей вселенной,
Всему, что просит, ищет и зовет,
Живую повесть истины нетленной,
Предвозвестить Благоприятный Год!

В творчестве Д. Кленовского вера, порыв души к ее Создателю, ощущение Его близости, Его Промысла превалирует над религией, то-есть над догматическим оформлением своего кредо. Как выразитель религиозных настроений своего поколения, он даже не пытается религиозно оформить эту владеющую им веру.

Темен путь среди земного мрака...
Как могу понять себя, познать я !?
Так сургуч не понимает знаков,
В нем навек оттиснутых печатью.
Но разящее прикосновенье
Ощутил он в трепете и дрожи
И хранит прекрасное раненье,
Оттиск Духа на остывшей коже.
И пускай еще не как сегодня
Не прочесть мне своего названья, —
Знаю я: на мне печать Господня!
Мне довольно этого сознанья.

Религиозное оформление своей веры Д. Кленовский видит не в мышлении, но в действии, в « материальном » проявлении любви и веры, в творческом исповедании христианства.

Если кошка пищит у двери
И ты можешь ее впустить, —
Помоги обогреться зверю,
У плиты молока попить.
Если мальчик бредет из школы
И, насупившись, смотрит в бок,
Подари ему нож веселый,
Смастерить ружье и свисток.
Это все, что во славу Бога
Можешь сделать ты на земле.
Это мало и это — много.
Это — словно цветок на скале.

Подвиг аскезы, отстранение себя от суетной жизни со всеми ее радостями и печалями совершенно чужд духовному строю Д. Кленовского. Материальный мир для него прежде всего проявление творчества Господня, и поэт зовет к вос-

приятию этого творчества, к радованию им и благодарности Господу за дарованную Им нашей жизни красоту.

Каждый голубь на моем дворе —
Хоть сейчас над Иорданом пари!
Каждая лилия, просиявшая на заре, —
Хоть сейчас гори в руках Марии.

И все же наша земная жизнь для Д. Кленовского только « побывка », временное пребывание на земле, куда душа приходит из иного мира и откуда она снова устремляется в другой, потусторонний, лежащий за гранью смерти, мир. Нужно ли тогда бояться смерти? Д. Кленовский не ощущает этого страха, так как он нерушимо уверен в жизни вечной. Он полон чисто христианского оптимизма и не видит в акте физической смерти жуткой устрашающей тайны. Переход в иной мир в его представлении только « расстоянье », этап пути духа в вечности бытия.

Не так ли, смерть, в твои края
Бредешь в томительном незнанье,
А тайна страшная твоя
Всего лишь только расстоянье?
Чем ближе, тем яснее ты,
И неизбежность вскоре минет!
Так нужно ли в твои черты
С тревогой всматриваться ныне?
И на дорогах бытия
И вопрошать и ждать ответа,
Не буду ль просто завтра я
Там, где меня сегодня нету?

Переход сквозь двери смерти в иной, лучший мир как будто бы даже влечет к себе углубленного в тайны бытия поэта. В другом стихотворении он добавляет:

Я знаю, как прекрасно там,
В мирах, неведомых отсюда,
И час придет — себя отдам
Испепеляющему чуду.

Не смерть, а воскресение предчувствует он, возвращение к утраченной в земной юдоли радости:

Смерть придет, так непременно надо,
Не страшись ее прикосновенья!
В ней не наказанье, в ней — награда,
Не исчезновенье, — возвращенье.

Вести с родной земли доходят к нам, живущим в свободном мире, отрывисто и скупо. Но даже со слов коммунистической печати мы все чаще и чаще узнаем о религиозном порыве, вспыхивающем в сердцах молодежи именно того поколения, глашатаем психического строя которого является поэт Дмитрий Кленовский. Коммунистические газеты с тревогой сообщают о стремлении молодежи к церкви, а через нее — к слову Господню, к его заповедям. Эти стремящиеся в климате коммунистического рабства могут и должны быть названы « дерзающими ». К ним Д. Кленовский обращается к такими словами.

И наверно самой полной мерой
Было бы нам, дерзнувшим, воздано
За крупицу настоящей веры, —
За одно горчичное зерно.

Подтверждение тому, что эти дарованные нам Сеятелем горчичные зерна не погибли, но, несмотря на все невзгоды, выжили и дают теперь свежие побеги, служат дошедшие до нас стихи другого поэта Бориса Пастернака. Путь его к Богу не сходен с путем Д. Кленовского. Б. Пастернак рожден в 1890 году и к началу революции представлял собою не только вполне сформированную личность, но и нашедшего, как казалось, свою творческую сущность поэта. Он принадлежал в предреволюционные годы к господствовавшему тогда течению символистов и в трех вышедших до революции сборниках его стихов не было места религиозному чувству. Но годы шли, и в зависимости от их трагических коллизий изменялся и душевный строй Б. Пастернака. В оковах соцреализма и ждановщины он не смог уже творить от себя, от своего духа и переключился на переводы иностранных классиков. Однако, будучи действительно поэтом, большим поэтом, он не смог замкнуться в молчании и в своей запрещенной на родине, но вышедшей в свободном мире книге « Доктор Живаго » дал несколько стихотворений, авторство которых предоставил герою этой повести. Темы этих стихов в большинстве религиозны. Вот некоторые из них:

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было Младенцу в вертепе
На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе
И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки,
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.
И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после:
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галлерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы,
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры...
...Все злей и свирепей дул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывала верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды
Ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.
— Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, —
Сказали они, запахнув кожухи.

От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листами слюды
Вели за хибарку босые следы.
На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды
Все время незримо входил в их ряды.
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску,
И ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.
— А кто вы такие? —
Спросила Мария.
— Мы племя пастушье и Неба послы,
Пришли вознести Вам Обоим хвалы.
— Всем вместе нельзя. Подождите у входа...

Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы
Ругались со всадниками пешеходы;
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстье скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленьи дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.

НА СТРАСТНОЙ

Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,
Если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение псалтири.

Еще кругом ночная мгла:
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетия.

Еще земля голым-гола,
И ей ночами не в чем
Раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.
И со Страстного четверга
В плоть до Страстной субботы
Вода буравит берега
И бьет водовороты.

И лес раздет и не покрыт,
И на страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.

А в городе, на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.

И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.

И видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица —
И вдруг на встречу крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.

И шествие обходит двор
По краю тротуара,
И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор,
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.

И март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как-будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И все до нитки роздал.

И пенье длится до зари
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтир или апостол.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь,
Смерть можно будет побороть
Усильем воскресенья.

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Мерцаньем звезд далеких безразлично
Был поворот дороги озарен.
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался млечный путь
Седые, серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.
В конце был чей то сад, надел земельный,
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: « Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной ».
Он отказался от противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства
И был теперь, как смертные, как мы.

Ночная тень теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша миновала
В поту кровавом Он молил Отца.

Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, осиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: « Вас Господь сподобил
Жить в дни Мои, вы ж разлеглись, как пласт.
Час Сына Человеческого пробил
Он в руки грешников Себя предаст. »

И лишь сказал, неведомо откуда
Толпа рабов, и скопище бродяг,
Огни, мечи, и впереди—Иуда
С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам
И ухо одному из них отсек,
Но слышит: « Спор нельзя решать железом.
Вложи свой меч на место, человек! »

Неужто тьмы крылатых легионов
Отец не снарядил бы Мне сюда?
И волоска тогда на Мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно, Аминь.»

Ты видишь, ход веков подобем притче
И может загорется на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.»

ЧУДО

Он шел из Вифании в Иерусалим,
Заранее грустью предчувствий томим.

Колючек кустарник на круче был выжжен,
Над хижиной ближней не двигался дым,
Был воздук горяч и камыш неподвижен,
И Мертвого моря покой недвижим.

И в горечи, спорививший с горечью моря,
Он шел с небольшою толпой облаков
По пыльной дороге на чье то подворье,
Шел в город на сборище учеников.

И так углубился Он в мысли Свои,
Что поле в унынье запахло полынью.
Все стихло. Один Он стоял посредине,
А местность лежала пластом в забытьи.
Все перемешалось: теплынь и пустыня,
И ящерицы, и ключи, и лучи.

Смоковница высилась невдалеке,
Совсем без плодов, только ветки да листья.
И Он ей сказал: «Для какой ты корысти?
Какая Мне радость в твоем столбняке?

Я жажду и алчу, а ты—пустоцвет,
И встреча с тобой безотрадней гранита.
О, как ты обидна и недаровита!
Останься такой до скончания лет».

По дереву дрожь осужденья прошла,
Как молнии искра по громоотводу,
Смоковницу испепелило до тла.

Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели б вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятенье, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох.

ДУРНЫЕ ДНИ

Когда на последней неделе
Входил Он в Иерусалим,
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за Ним.

А дни все грозней и суровей,
Любовью не тронуть сердец,
Презрительно сдвинуты брови,
И вот послесловье, конец.

Свинцовою тяжестью всею
Легли на дворе небеса.
Искали улик фарисеи,
Юля перед Ним, как лиса.

И темными силами храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой,
Как славили прежде, клянут.

Толпа на соседнем участке
Заглядывала из ворот,
Толклись в ожиданьи развязки
И тыкались взад и вперед.

И полз шепоток по соседству
И слухи со многих сторон.
И бегство в Египет и детство
Уже вспоминались, как сон.

Припомнился скат величавый
В пустыне, и та крутизна,
С которой всемирной державой
Его соблазнял сатана.

И брачное пиршество в Кане,
И чуду дивящийся стол,
И море, которым в тумане
Он к лодке, как по суху шел.

И сборище бедных в лачуге,
И спуск со свечею в подвал,
Где вдруг она гасла в испуге,
Когда воскрешенный вставал...

Молитвенные песнопения Д. Кленовкого и облеченные в ритмическую форму евангельские повести Б. Пастернака не услышаны и не могли быть слышимы теми, для кого они были написаны. Современники этих поэтов или их потомки услышат их только тогда, когда Господь смилуется над Россией и ее народом. Но это не значит, что устремления, высказанные теми, кто дерзнул, не таясь восславить Господа, не имеют откликов в сердцах тех, кто не в состоянии дерзнуть. Света не угасить, и те, кому суждено жить в неведомых нам грядущих временах, внимая голосам этих дерзнувших высказать свою веру поэтов, скажут о них, как предвидит Д. Кленовский:

Знать, писалось не понапрасну!
Ведь досталось и нам немного
Чистой радости, ласки ясной —
Дорогого подарка Бога.

Звезда возгоревшаяся над темным вертепом, светит русским поэтам и теперь во мраке объявшей Россию ночи, светит и ведет волхвов славы к яслям Предвечно Рожденного.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

...Текли года, сменялись десятилетия, медленной поступью шествовали века...

...Люди рождались и умирали, поколения сменяли друг друга и каждое из них несло с собой в жизнь духа русского народа новые веяния, новые идеи, новые представления и новые формы устремления души человеческой к Господу.

В стройной гармонии с этими изменениями звучала и арфа Давида — лира русских поэтов. Каждый из них отражал и выражал религиозно-психический склад своих современников...

Рожденный и живший в веке преклонения перед рационализмом Ломоносов, неизбегнувший сам подчинения духу его эпохи, все же, несмотря на ее антихристианскую направленность, сумел отыскать тропу к Господу, познавая величие Его творений. Наследовавший от него русскую лиру, объятый стремлением к справедливости, Державин обличал ее аккордами зло человеческого бытия и боролся с ним. Вещий Пушкин рассказал людям заветы Господа, дарованные Им избранным пророкам. Сохранивший в памяти своего надсознания напевы ангелов, Лермонтов пропел их людям в своих молитвенных стихах.

Безгранична милость Господня и неисчислимы пути и тропы, по которым она изливается в сердца людей.

...Текли года, проходили десятилетия...

...Взметенная, смущенная, потрясенная отзвуками гулов грядущего, душа Александра Блока, касаясь струн той же арфы Давида, предостерегала род людей русских от грядущего возмездия. Эти громы грянули, и бесприютный в охватившем Россию хаосе Сергей Есенин ищет порою мира и успокоения в лике кроткого Спаса, молит о помощи Миколу Угодника, молитвенника за землю русскую.

Беспросветный мрак над многострадальной Россией... И вот из этого мрака снова доносятся к нам напевы арфы Давида. Ни громы ее не заглушили, ни мрак ее не подавил...

Но скептически настроенный читатель может поставить нам такой вопрос о звучании арфы Давида в творчестве русских поэтов:

— Да, все указанное, все приведенное вами верно и правдиво. Но ведь вы рассматривали только творчество самых крупных, самых выдающихся русских поэтов, особо одаренных Господом людей, личностей повышенного, утонченного духовного строя. Ну, а обыкновенный, простой человек, такой, каких миллионы? Доходили ли до его души эти звуки и отвечал ли он сам на них?

В моем (Б. Ширяева) архиве писателя и журналиста хранится много человеческих документов — писем, отрывков из дневников, записей прошедших перед моими глазами фактов. Много в них темного, но еще более светлого.

В ответ на справедливо поставленный читателем — скептиком вопрос я расскажу об одном таком документе, а кстати и о действительно живущем человеке, живущем здесь, теперь, среди нас—его авторе. Начну со стихотворения.

Я не верю никому,
Верю только Богу.
Мне не страшно одному
Идти в путь — дорогу.
Ведь Господь со мной везде,
Он мне помогает,
В море, в небе, на земле
Руку простирает.
И за то Ему молюсь:
Слава Тебе Боже!
В огне смерти не боюсь,
Если быть ей — что же,
Я принять ее готов
За веру Христову
И за Родину без слов,
За все, что в ней святого.

Пусть взыскательный, изощренный в тайнах поэтического искусства читатель заранее откажется от упреков автору этого стихотворения в допущенных им версификационных дефектах: неправильностях ритма, примитивности образов, даже грамматических неточностях. Эти упреки были бы бессмысленными, потому что главное, основное в этом стихотворении не его поэтические красоты, но глубокая искренность устремленности души его автора к Богу, сила его веры во Всевышнего и еще то... что автор этого стихотворения вступил в свободный мир 15 лет тому назад, будучи абсолютно неграмотным.

Его фамилия Ураленко и он проживает сейчас в одной из заокеанских стран. В прошлом он был подсоветским колхозником и сыном колхозника-крестьянина, строго хранившего в своей семье религиозные устои и пострадавшего за них. Дальнейший жизненный путь А. Ураленко — служба в советской армии, во время которой он упорно отказывался от обучения грамоте, потому что видел в ней (в данном случае) прежде всего средство советской пропаганды, орудие к вторжению в

его духовный мир, в его религиозную настроенность. Пришла война, а вместе с нею и возможность освобождения... Ураленко, пройдя не раз буквально на волосок от смерти, вырвался на волю и вступил в свободный мир. Кто вел его? Не Тот ли, о вере в Которого говорит он в своих стихах, глубоко созвучных напевам арфы Давида?

Русской грамоте А. Ураленко научился уже в чужой стране, причем постиг ее уже после обучения письму и чтению на языке этой страны. А как только постиг и смог владеть обозначением звуков русской речи, из под его пера полились облеченные в ритмическую форму славословия Господу Богу. Арфа Давида полнозвучно запела. О дальнейшем духовном и культурном росте этого русского человека я рассказывать не буду. Сообщу лишь то, что сейчас в той далекой стране, у него накопилась уже значительная библиотека русских писателей, главным образом поэтов, что особо любим им М. Ю. Лермонтов, а из его произведений те, в которых его душа устремлена к Господу. Ну, а в моем столе также накопилось множество стихотворений самого Ураленко, отражающих его собственное индивидуальное устремление к тому же Вечному Источнику подлинной поэзии.

Аналогичные, вполне реальные факты того же порядка может найти каждый из нас, покопавшись в своей памяти.

Арфа Давида не умолкла в русской душе. Арфа Давида поет в ней. И с каждым днем все слышнее и слышнее сладостный звон ее струн.

Гимн Св. ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО
(перевод Б. Ширяева)

Господь Всеблагий, Всемогущий, Всевышний, Тебе одному подобает хвала!

Слава и пение,
Благословение
Только Тебе одному!
Имени лишь Твоему!

Хвала Тебе, Боже, за светлого брата, за солнце, творенье Твое!

Им свет излучаешь,
Им день озаряешь,
В нем Имя вещаешь Свое.

Хвала Тебе, Боже, за звезды на небе, хвала за сестру их, луну!

Чисты и прекрасны,
Искристы и ясны
Струят в наши души весну.

Хвала Тебе, Боже, за брата нам ветра, за воздух, за облака тень!

Твое сотворение
Небес прояснение.
Тобою дарован нам день.

Хвала Тебе, Боже, за воду — сестру нам, за реки, ручьи и моря.

Чисты и смиренны,
Они драгоценны,
Нам жизни теченье даря.

Хвала Тебе, Боже, в стихийном горенье могучего брата — огня!

Что плоть согревает,
Что тьму освещает,
Ночное томленье гоня.

Хвала Тебе, Боже, за тучную землю, сестру нам и нежную мать!

В ней злаков рожденье,
В ней радость цветенья,
В ней жизни Твоей благодать.

Хвала Тебе, Боже, за тех, кто прощает, кого научил Ты любви.

Сквозь все испытанья,
Гоненья, страданья
Венец Твой их ждет впереди.

Хвала Тебе, Боже, за смерть, за сестру нам, всех ждущий конец его дней.

Греховным — в нем тленье,
Но Ты — искупленье
Дал тем, кто жил в воле Твоей.

Хвалите и пойте Господнее имя, взнесите осанну Творцу!

Воздайте в смиренье
Благодаренье
Его, Жизнедавца, лицу!

Света не угасить! Не заглушить звучания боговдохновенной арфы!

На деревянной облицовке бедной церкви святого Дамиана в Ассизи эпиграфом к приведенному гимну святого поэта вырезаны слова:

Не голос, но вера,
Не звук, но любовь,
Не струна, но сердце
Поют, как арфа, хвалу Господу!

◇◇◇

СОДЕРЖАНИЕ

Editeur responsable : M^lle^ Posnoff, Avenue de la Couronne, 206, Bruxelles

THE ST-CATHERINE PRESS, TEMPELHOF, BRUGES (BELGIUM)